

РАННЯЯ РЕДАКЦИЯ ПОВЕСТИ «ДОЛГ ПРЕЖДЕ ВСЕГО»

Публикация Ю. Красовского

Опубликованная лишь в 1854 г., в лондонском издании «Прерванных рассказов», повесть Герцена «Долг прежде всего» осталась почти не известной русскому читателю. Она оказалась как бы заслоненной блестящей публицистической деятельностью Герцена пятидесятых-шестидесятых годов. С другой стороны, исследователи не интересовались повестью, так как автор не закончил ее. Считалось, что это чуть ли не черновой отрывок, в котором Герцен в значительной степени перепевает себя. Этому ложному представлению отчасти способствовало и предисловие Герцена к «Прерванным рассказам», в котором он говорит о «поблекших листах, захваченных на полдороге суровыми утренниками».

Однако во время работы над повестью Герцен придавал ей, по видимому, большое значение. Повесть была задумана автором как монументальное произведение, как самое крупное из всего написанного им до тех пор. Картина русской жизни при крепостном праве набросана широко и полно. История помещичьего рода Столыгиных не замкнута Герценом в узкие психологически-бытовые рамки; она воссоздана на фоне крепостнического строя в целом. Главы, посвященные Столыгиным, полны страстной ненависти к крепостническому рабству — ненависти, явственно пробивающейся сквозь иронический тон рассказа.

Другая тема повести, правда только намеченная и незавершенная, — это характеристика русского общества и его эволюции, начиная с Петра I и кончая Николаем I. Герцен дает сжатые, выразительные характеристики людей екатерининского, павловского и александровского времени, делает зарисовки отдельных исторических деятелей (Паскевича, Милорадовича и др.). Одна из самых ярких страниц повести посвящена польскому восстанию 1831 г. Есть тут и эпизод из французской революции 1789 г.

Наконец, третий тематический комплекс повести — история Анатоля Столыгина, которая должна была стать основной стержневой линией повести. Это — история умственного формирования русского «молодого человека» XIX века. Здесь, несомненно, немало автобиографического: кое-какие подробности напоминают детство и юность самого Герцена, начиная с указания на то, что имение Столыгиных было расположено «верст сотню по Можайке от города», и кончая описанием Московского университета (в частности, характеристика профессоров — «немцев» и «не-немцев» — вошла впоследствии в соответствующие главы «Былого и дум»).

Но дальнейшая история Анатоля Столыгина, идейная эволюция героя, его конец, в значительной степени навеяны историей В. С. Печерина. В русской жизни тридцатых годов Печерин занимает особое место; это своеобразнейшая фигура. Как известно, он был одним из самых блестящих и многообещающих молодых профессоров Московского университета; в 1836 г. он бежал из России от ужасов николаевской действительности и после длительных скитаний по Европе вступил, в 1840 г., в католический орден редемптористов и стал одним из крупнейших католических проповедников в Ирландии. Личность Печерина, по словам самого Герцена (см. его письмо к М. К. Рейхель от 18 марта 1853 г.), живо интересовала его; Герцен много слышал о Печерине от Грановского, Редкина, Крюкова. Аналогия между переходом в католичество Печерина и Анатоля Столыгина — на наш взгляд несомненна. Герцен фиксирует в повести даже

такую характерную деталь: «обращение» Анатоля, как и обращение Печерина, связано с их пребыванием в Бельгии. Создавая в 1847—1851 гг. «Долг прежде всего», Герцен еще не был лично знаком с Печериным; их встреча, как известно, произошла в Лондоне, в марте 1853 г. (этой встрече посвящена отдельная глава «Былого и дум» — «Pater V. Petcherine»).

Герценовский Анатолий Столыгин переходит в католичество, но разочарование быстро постигает его; повесть кончается тем, что он уезжает в Монтевидео проповедовать религию, в которую уже не верит сам. Герцен удивительно точно предвосхитил эволюцию взглядов, пережитую прототипом его героя. Передавая М. К. Рейхель впечатление от личной встречи с Печериным, Герцен 23 марта 1853 г. писал: «М не его жаль: он, кажется, совсем не так счастлив о Христе и потерян» (VII, 197). Как известно, в начале шестидесятых годов Печерин, придя к выводу, что он «проспал двадцать лучших лет своей жизни», снял монашескую рясу; он начал живо интересоваться «Колоколом» и возобновил переписку с русскими друзьями, хотя все же и закончил жизнь ирландским священником.

О том, что Герцен придавал своей повести большое значение, свидетельствуют многие факты. В сентябре 1847 г., в Париже, он читал ее Белинскому и Бакунину; в 1848 г. послал ее для напечатания в «Современник»; в 1849 г. дал прочитать Н. И. Сазонову и послал в Германию для перевода на немецкий язык, и уже после этого вновь возвратился к повести для серьезной ее переработки.

Но, конечно, в 1851—1854 гг. повесть эта уже была для Герцена пройденным этапом. Он так и не окончил ее. «Сазонов», — писал Герцен, — перечитав перед моим отъездом из Парижа в 1849 году начало моей повести „Долг прежде всего“, писанной за два года, сказал мне: „Ты этой повести не кончишь, да и ничего подобного больше не напишешь“» (XIII, 375). Сазонов оказался прав. Как отмечал сам Герцен, «события далеко раздвинули 1847 и 1851 годы; перебросить нить повести через них и снова поймать, мне кажется невозможным». Начинался новый период в жизни Герцена, период «Былого и дум», период создания вольной русской печати.

«Долг прежде всего» — одно из самых ярких произведений русской антикрепостнической литературы XIX века. Высоко ценил повесть Герцена Лев Толстой. В «Яснополянских записках» Д. П. Маковицкого читаем: «26 июля <1905 г.> Толстой предложил прочесть вслух рассказ Герцена „Долг прежде всего“, сказав при этом: „Ничего подобного нет в русской литературе. „Кто виноват?“ — робкое, а это — бойкое“. Вечером того же дня Толстой „растроганным голосом“ прочел первую часть этого рассказа, сказав: „Эта первая глава — превосходная, удивительная“» («Лит. наследство», т. 41-42, 1941, стр. 511).

* * *

Что представляет собою публикуемая рукопись повести «Долг прежде всего»? Это — ее ранняя редакция и в то же время это — *единственный авторизованный подлинник повести*. До сих пор повесть публиковалась по печатному тексту лондонского издания «Прерванных рассказов» 1854 г. и по исправленному второму изданию 1857 г. Публикуемый подлинник позволяет уточнить дату написания повести и проследить историю ее создания.

Дата, стоящая под предисловием, — 25 августа 1847 г., — совершенно точно определяет время написания первой части. Первая часть была закончена в Бретани, куда Герцен вместе с семьей ездил в июле — августе 1847 г. (см. письмо к Е. Ф. Коршу от 21 июня 1847 г. — V, 44). В сентябре 1847 г. в Париже Герцен, как уже сказано, читал законченную первую часть повести Белинскому и Бакунину.

«Первая часть, или пролог новой повести, совсем готов, — сообщает Герцен в письме к В. П. Боткину из Рима от 31 декабря 1847 г., — не знаю, мерзок ли он, но я, особенно началом, очень доволен. Отослю как только получу „Современник“» («А. И. Герцен. Новые материалы. Подгот. Н. М. Мендельсоном. М., 1927, стр. 41). В начале 1848 г. Герцен послал повесть в «Современник», о чем писал из Рима Е. Ф. Коршу, Т. Н. Грановскому и К. Д. Кавелину 30 января 1848 г. («Первый отдел повести я послал» — V, 180).

В «Современнике» повесть, однако, не появилась. Несомненно, именно о «Долге прежде всего» пишет П. В. Анненков в своих «Литературных воспоминаниях». «Он <Герцен.— Ю. К. начал повесть из французской революции 89 года с русским деятелем посреди ее <Михаил Столыгин, живя в Париже, ходил смотреть на взятие Бастилии.— Ю. К.> и не усомнился послать рассказ в „Современник“. Позднее Панаев говорил мне в Петербурге: „Герцен с ума сошел: посылает нам картины французской революции, точно она у нас дело признанное и забытое“. Повесть, разумеется,



ГЕРЦЕН

Дагерротип 1850—1852 гг.

Центральный государственный архив Октябрьской революции, Москва

не попала в печать, а явилась за границей в особом сборнике» (П. В. Анненков. Литературные воспоминания. Л., 1928, стр. 494).

Но мысль об издании повести не оставляла Герцена. В 1849 г. он включил «Долг прежде всего» в план задуманного им сборника (см. «Лит. наследство», т. 39-40, 1941, стр. 170). Прошло два года, и Герцен 19 июня 1851 г. писал друзьям из Парижа: «Я хочу напечатать повесть, которую вы, кажется, читали, „Долг прежде всего“...».

В октябре 1851 г. Герцен послал рукопись известному немецкому переводчику Вильгельму Вольфзону для перевода на немецкий язык и издания в Германии. Тогда же он написал и вторую часть «Вместо продолжения повести „Долг прежде всего“», озаглавленную в рукописи «Письмо автора к г. Вольфзону». Под «письмом» стоит дата: «Ницца, 13 октября 1851 года». Эта часть была послана Вольфзону в ноябре (как видно из письма Герцена к М. К. Рейхель от 1 января 1852 г.). Но Вольфзон или затерял рукопись, или из цензурных соображений решил не издавать ее.

В 1854 г., а затем в 1857 г. «Долг прежде всего» был издан самим Герценом в Лондоне, в сборнике «Прерванные рассказы», в переработанном и сокращенном виде.

В конце этого сокращенного издания Герцен поставил дату: «осень 1851 г.». До сих пор она и считалась датой переработки повести для лондонского издания. Рукопись, посланная Вольфзону для напечатания, естественно, должна была заключать в себе последнюю редакцию повести; она датирована Герценом, как уже было нами сказано, 13 октября 1851 г. Следовательно, Герцен сократил и переработал «Долг прежде всего» для издания 1854 г. позднее. В противном случае он не стал бы отсылать Вольфзону рукопись в том виде, в каком мы ее публикуем, а послал бы новый, исправленный и сокращенный вариант. Дату «осень 1851 г.» в издании 1854 г., очевидно, нужно понимать условно, как дату окончания основной работы над повестью.

Дата же, которая стоит под публикуемой рукописью, — 13 октября 1851 г. — совершенно точна, так как подтверждается предпоследней фразой самой повести: «Из нас трех <Белинского, Бакунина, Герцена> в живых остался один я». Как раз в октябре—ноябре 1851 г. распространились слухи о смерти Бакунина, выданного царской России австрийским правительством (см. переписку Герцена с Мишле 1851 г.).

Таким образом, слова: «осень 1851 года» — не означают дату окончания работы над второй сокращенной редакцией повести: в издании 1854 г. Герцен просто поставил дату написания «Письма к Вольфзону». К переработке повести Герцен приступил уже после того, как ему стало ясно, что Вольфзон от издания отказался. Можно предположить, что переработка относится к 1853 г., когда Герцен готовил к печати «Прерванные рассказы». Этим годом помечено предисловие к «Прерванным рассказам», обращенное к М. К. Рейхель. Закономерно и такое предположение: не явилась ли некоторым толчком к переработке повести встреча Герцена с В. С. Печериным в марте 1853 г.? Необходимо указать следующий любопытный факт, явно связанный с В. С. Печериным: конец повести (история перехода Анатолия Столыгина в католичество) сведен в издании 1854 г. к нескольким строкам, вместо нескольких страниц в первой редакции, что, как нам кажется, надо поставить в прямую связь с лондонским свиданием 1853 г. Повидимому, Герцен счел необходимым немного затушевать зависимость своего героя от его реального прототипа. В издании 1857 г. (в это время Герцен уже не встречался с В. С. Печериным) конец повести вновь расширен, но все же в более скромных пределах, чем это было задумано первоначально.

В 1887 г. в Дрездене вышло немецкое издание «Долга ...». Из предисловия анонимного переводчика видно, что перевод этот был сделан с авторизованной рукописи Герцена, посланной им в свое время В. Вольфзону (скончавшемуся в 1865 г.); другими словами, это издание содержало именно первую, раннюю редакцию повести. Издавая собрание сочинений Герцена, М. К. Лемке воспроизвел в обратном переводе с немецкого на русский различия немецкого издания с основным текстом, данным по изданию 1857 г. (VII, 498—526). Русским подлинником этой первой редакции повести М. К. Лемке не располагал.

Публикуемая ныне ранняя редакция повести «Долг прежде всего» и является той самой рукописью Герцена, которая была послана им Вольфзону и вышла в свет в немецком переводе в 1887 г.

Что же нового дает публикуемая рукопись по сравнению с немецким изданием 1887 г.?

Как уже указывалось выше, она помогает с точностью установить, когда создавалась и перерабатывалась повесть. В ней содержатся также куски текста, не вошедшие ни в одно печатное издание повести. В первую очередь, следует отметить предисловие «От сочинителя», помеченное «Гавр де Грас. 25 августа 1847». Все это предисловие было зачеркнуто Герценом и потому не публиковалось нигде. Между тем, оно представляет большой интерес; оно написано в иронической манере. «Долг прежде всего» именуется в предисловии «нравоучительной повестью», в которой должна быть развита «любимая тема» автора: «человек должен не рассуждать об обязанностях, а исполнять их, что долг прежде всего, что награда сама идет за исполнением». Очевидная ирония разоблачает «любимую тему».

Особенно много неопубликованных мест находим мы во второй части повести. Немецкий переводчик, имевший под руками весь текст, выбрасывал целые абзацы и отдельные фразы, главным образом по соображениям политическим. Так, например, в отрывке: «...русское общество с Петра I-го раза четыре изменило нравы. *Последние, без сомнения, самые худшие.* Об екатерининских стариках говорили очень много, но люди александровского времени будто забыты, *так и сгинули с лица земли*» — подчеркнутые нами места выброшены, что, конечно, выхолащивает самую суть отрывка. Целиком опущен немецким переводчиком абзац, посвященный сходству прусского и русского самодержавия: «Солдатызм на троне идет от прусских королей; никогда ни французские короли, ни английские, ни даже австрийские императоры не предавались с таким неистовством страсти быть вахмистрами, как русский императорский дом<...> Не оттого ли это происходит, что ни прусский, ни петербургский трон не имеют никакого исторического, народного значения, что, однажды сложившись, им не на чем держаться, кроме армии, что они погибли <бы> без солдат?». Выброшены также фразы о том, что Александр I разрешил заговорщикам убить Павла, сравнение Павла с Николаем I, фраза о «нравственной Сибири» и другие наиболее резкие в политическом отношении места. К этому следует добавить, что переводчик вообще очень свободно обращался с герценовским текстом, «исправляя» и «улучшая» его стиль. Поэтому хотя немецкое издание 1887 г. и имеет в основе текст герценовской рукописи 1851 г., тем не менее оно не точно передает стиль, язык и самый дух повести Герцена.

Выяснить отличие публикуемой ныне первой редакции повести (1847—1851) от второй, переработанной Герценом в 1853 г., — весьма существенно. Но это — предмет специального текстологического исследования, которое даст возможность на конкретном примере проследить весь ход работы Герцена над первой частью «Долга прежде всего», методы его работы над словом, в поисках большей художественной выразительности. Публицистическая же часть, представленная, в основном, «Письмом к Вольфзону», имеет для исследователя стиля произведений Герцена совершенно особый интерес. Герцен именует «Письмо к Вольфзону» всего только «планом» продолжения повести, но, ознакомившись с этим «планом», исследователь неминуемо убедится, что это не «план», не «письмо», а самостоятельное художественно-публицистическое произведение, статья, совпадающая по всей своей манере с герценовской публицистикой «Колокола» и «Полярной звезды», но созданная несколькими годами ранее. Недаром один из фрагментов этого мнимого «плана» — тот, в котором характеризуется революционная отвага поляков — из «Долга прежде всего» перекочевал впоследствии (с небольшими изменениями) в знаменитую статью 1853 г. «Поляки прощают нас» (VII, 255). Герцен потому и не окончил своей повести, что «русская пропаганда», открытие «Вольной русской типографии» требовали от него не создания повестей, а выработки нового публицистического стиля. Ранняя редакция повести «Долг прежде всего» наглядно демонстрирует этот процесс: изображение во второй ее части екатерининского двора, Павла, людей александровского времени, восставших поляков и пр. представляет собою как бы мост, перекинутый Герценом от произведений беллетристических к художественной публицистике «Колокола».

Публикуемая рукопись хранится ныне в Центральном государственном литературном архиве СССР, в фонде Герцена (№ 129, ед. хр. 3). Более 75 лет она считалась утраченной. «Никакие поиски, — пишет М. К. Лемке, — не дали мне возможности напасть на след рукописи Герцена» (VII, 498). В двадцатых годах нашего века она была случайно обнаружена В. П. Полонским у одного из парижских букинистов, приобретена им и в составе его архива в 1946 г. поступила в ЦГЛА.

Рукопись представляет собою две тетради, ныне переплетенные в один переплет, исписанные писарским почерком, с многочисленными исправлениями и добавлениями, сделанными рукою Герцена. Рукопись содержит несколько мелких зачеркнутых вариантов, имеющих характер стилистических исправлений. Кроме небольших карандашных пометок переводчика, на полях рукописи сохранились полустертые критические замечания, тоже сделанные карандашом; судя по почерку, они могут принадлежать Н. И. Сазонову. С некоторыми из них Герцен соглашался и вносил в текст соответствующие поправки.

ДОЛГ ПРЕЖДЕ ВСЕГО

А. ГЕРЦЕНА

(Повесть эта не была нигде напечатана)*

«Я считал бы себя преступным, если б не исполнил и в сей настоящий год, как в многие прошлые, священного долга моего и не принес бы Вашему превосходительству наиусерднейшее поздравление с наступающим высокочтимым праздником — ничто в мире не может отвлечь меня от обязанностей, исполнять которые я привык от младых дней моих».

Декабрьское письмо, № 41, 518.

[ОТ СОЧИНТЕЛЯ **]

Я не знаю, какая цель может быть возвышеннее для автора, как своими писаниями поучать, исправлять нравы; это обязанность всякого берущего перо в руки, — исполнение ее, как исполнение всякого долга, носит в себе свою награду, — ибо что может быть приятнее, как учить других, возвышать их до *нашего* совершенства. Но мораль не должна являться в слишком сухой и строгой форме; она может украсить чистое чело свое цветами вымыслов. Хорошо было Цицерону заставлять своего сына Марка читать скучное сочинение «Об обязанностях», — ибо слепое повиновение родительской воле есть уже само по себе священный долг. Напротив, Сильвио Пеллико, не имевший никакого сына, написал тоже книгу «*Dei doveri*» ***, — ее все принимали с достоподобным уважением, но уже никто не читал.

Устрашенный его примером, я решился любимую тему мою, что «человек должен не рассуждать об обязанностях, а исполнять их, что долг прежде всего, что награда идет сама за исполнением», развить в правоучительной повести. Здесь, на пустынных и обмываемых Ламаншом скалах Нормандии, написал я часть моей предполагаемой повести, именно ту, которая предшествует первой.

Повергаю ее суду благосклонных читателей.

Гавр де Грас
25 августа 1847]

ПРОЛОГ, т. е. ЧАСТЬ, ПРЕДШЕСТВУЮЩАЯ ПЕРВОЙ ЧАСТИ

I

Сыну Михайла Степановича Столыгина было лет четырнадцать...

Но с этого начать невозможно; для того, чтоб принять участие в сыне, надобно узнать отца, надобно даже сколько-нибудь узнать почтенное и доблестное семейство Столыгиных.

Мне хотелось бы основательно вас познакомить с этим семейством, но я не знал, как это лучше сделать. Мне приходило в голову начать с исторических преданий их знаменитого рода, с того, как Трифон Столыгин успел в две недели три раза присягнуть: раз Владиславу, раз Тушинскому вору, раз не помню кому, и всем изменил; я хотел описать их богатые достояния, их села, в которых церкви были пышно украшены смиренными и благочестивыми приношениями помещиков, повидимому, не столь смиренных в светских отношениях, что доказывали полуразвалившиеся, кривые, худо крытые и подпертые шестами избы...

* Слова: Повесть эта не была нигде напечатана — написаны рукой Герцена.

** Все предисловие перечеркнуто Герценом.

*** «Об обязанностях» (итал.).

Но, боясь утомить ваше внимание, я скромно решился начать не дальше, как за воротами большого дома Михайла Степановича Столыгина, что на Яузе. Ограда около дома каменная, ворота толстого дерева; с одной стороны калитка истинная, с другой — ложная; в ней вставлена доска, в должности скамьи; на доске сидит обтерханный старик, повидимому, нищий.

Наружность обманчива, — старик был вовсе не нищий, а дворник Михайла Степановича.

Пятьдесят второй год пошел с тех пор, как красивый русский юноша Ефимка вышел в первый раз за эти ворота с метлою в руках и с горькими слезами на глазах; он тогда только был взят из деревни. Дядя Михайла Степановича, объезжая свои поместья, привез его из Симбирска, не потому, что ему нужен был мальчик, а так, — ему понравился добрый вид Ефимки, он и решился устроить его судьбу. Устроил он ее прочно, как видите. Ефимка мёл юношей, мёл с пробивающимся усом, мёл с окладистой бородой, мёл с проседью, мёл совсем седой и теперь метет с пожелтевшей бородой, с ногами, которые подгибаются, с глазами, которые плохо видят. Одно сберег он от юности — его вся дворня звала Ефимкой; впрочем, страннее этого патриархального названия было то, что он действительно не развился в Ефимы. По мере того как он свыкался с своей одинокой жизнью, по мере того как страсть ко двору и к улице у него делалась сильнее, так что он вставал раза два-три ночью и осматривал двор с пытливым любопытством собаки, несмотря на то, что ворота были заперты и две настоящих собаки спущены с цепи, — в нем пропадала и живость и развязность, круг его понятий становился уже и уже, мысли смутнее, тусклее. Раз, лет за двадцать до нашего рассказа, ему взопла в голову дурь — жениться на кучеровой дочери; она была и непрочь, но барин сказал, что это — вздор, что он с ума сошел, с какой стати ему жениться? Тем дело и кончилось. Ефимка тосковал, никому не говорил ни слова, стал попивать и приметно тупеть. К старости он сделался кротким, тихим зверем, страдавшим от холода и от боли в пояснице, веселившимся от сивухи и нюхательного табаку, который ему поставлял соседний лавочник за то, чтоб он мёл улицу перед лавочкой. Других сильных страстей у него не было, если мы не примем за страсть его безусловной послушливости всем, кто хотел приказывать, и безграничного идолопоклонства, исполненного страха и трепета, к Михайлу Степановичу. По несчастию эта благоговейная преданность утрачивается у дворников, только двадцать лет метущих улицу, и у прочих слуг нового испорченного поколения.

Нельзя, впрочем, сказать, чтобы сношения Ефимки с Михайлом Степановичем были особенно часты или важны; они ограничивались строгими выговорами, сопряженными с сильными угрозами за то, что мостовая портится, за то, что тротуарные столбы гниют, за то, что за них зацепляются телеги и сани... Ефимка чувствовал свою вину и со вздохом поминал то блаженное время, когда улица не мостили, а тротуаров не чинили, по очень простой причине: потому что их не было.

Сношение другого рода, более приятное и торжественное, повторялось всякий год один раз. В светлое воскресенье вся дворня приходила христосоваться с барином; причем Михайло Степанович, обыкновенно угрюмый и раздраженный, менял гнев на милость и дарил своих слуг ласковым словом, — отчасти в предупреждение других подарков.

— А помнишь, — говорил ежегодно Михайло Степанович Ефимке, обтирая губы после христосования, — помнишь, как ты меня возил на салазках и делал снеговую гору?!

Сердце прыгало от радости у старика при этих словах, и он торопился отвечать:

— Как же, батюшко, кормилец ты наш, мне-то не помнить? Оно, ведь, еще при покойном дядюшке вашей милости, при Льве Степановиче, было; помню, вот словно вчера было, так помню.

— Ну, оно вчера не вчера было, — прибавлял Михайло Степанович, улыбаясь, — а, небось, пятый десяток есть. Ну, смотри же, Ефимка, праздник — праздником, а улицу мети, да пьяных теперь много шляется; как смеркнется, ворота запри, да смотри, чтоб булыжник не крали.

— Словно глаз свой берегу, батюшко, — отвечал дворник, и барин давал знать, чтоб он шел с красным яйцом, данным ему на обмен.

Сим периодическим разговором ограничивались личные сношения этих ровесников, живших лет пятьдесят под одной крышей.

Ефимка бывал очень доволен аристократическими воспоминаниями и обыкновенно вечером в первый праздник, не совсем трезвый, рассказывал кому-нибудь в черной и длинной кучерской: «Ведь, подумаешь, какая память у Михайла-то Степановича; помнит, что... А, ведь, это сущая правда; бывало, меня заложит в салазки, а я вожу, а он-то, знай, кнутиком погоняет, ей-богу — сколько годов, подумаешь...», и он, качая головой, развязывал лапти, снимал онучи и засыпал на печи, подложивши свой армяк (постели он еще не успел завести) и думая, вероятно, о суете жизни человеческой и о прочности некоторых общественных положений, например, дворника.

Итак, Ефимка сидел у ворот. Сначала он медленно и больше для наслаждения, нежели для пользы, подгонял грязную воду по канавке метлой, потом понюхал табаку, посидел, посмотрел и задремал сидя на лавке. Вероятно, он довольно долго бы проспал в товариществе дворной собаки плебейского происхождения, черной с белыми пятнами, <с> длинной, жесткой шерстью и изгрызенным ухом, которого сторонки она беспрестанно приподнимала, чтобы сгонять мух, если б их обоих не разбудила женщина средних лет.

Женщина эта, тщательно закутанная, в шляпке, с опущенным вуалем, давно показалась на улице; она медленно шла по противоположному тротуару. Приближаясь к дому Столыгина, она приостановилась немного у фонарного столба и с очевидным беспокойством стала вглядываться, что делается на дворе Столыгина. Казачок в сених пощелкивал орехи, кучер возле сарая чистил хомут и курил из крошечной трубочки; вероятно этого довольно было, чтоб отстрашать ее. Она прошла мимо. Через четверть часа она явилась на том тротуаре, на котором всё спал Ефим; на дворе в это время не было никого. Проходя мимо Ефима, она шепнула что-то не останавливаясь и не оборачивая головы, но Ефим спал; проснулась одна собака, заворчала было, но вдруг бросилась к женщине со всеми собачьими изъявлениями искренней радости; она испугалась ее ласк и отошла, как можно скорее. Осмотревши еще раз из-за угла, что делается на дворе, она решилась подойти к Ефиму и позвать его.

— Ась, — пробормотал Ефим, просыпаясь, — чего вам?

Он не был так счастлив, как его приятель, и не узнал, кто с ним говорит.

— Ефим, — продолжала незнакомка, — вызови сюда Настасью Кирилловну.

— А на что вам ее? — спросил дворник, что-то заминаясь.

— Да ты меня разве не узнаешь, Ефим?

— Ах ты мать пресвятая богородица! — отвечал он, отплевываясь на сторону и вставая со скамьи, — глаза-то какие стали, матушка! Эх я, чего не спознал! Простите, старому дураку, из ума выжил, матушка, — да как это господь...

— Послушай, Ефим, мне некогда; коли можешь, поскорее вызови Настасью.

— Слушаю, матушка, слушаю, привел же бог опять увидеть тебя... я сейчас... того бы, сбегал за Настасьей Кирилловной, — да вот, матушка, — старик чесал пожелтелые волосы свои, — да как бы Тит-то Трофимович...

Женщина посмотрела на него с глубоким состраданием и молчала... Старик продолжал:

— Боюсь, смертельно боюсь, матушка! Кости старые, лета какие, а ведь у нас кучер Сергей, не приведи бог, какая тяжелая рука, — так в конюшню богу душу и отдашь. Христианский долг не исполню...

Он еще не окончил своей речи, как из ворот высочила старушонка худощавая, подслепая, в белом чепчике и темном ситцевом капоте. Ефим побледнел сначала, как полотно, но, разглядев Настасью, успокоился.

— Ах, матушка, Марья Валерьяновна, не извольте слушать, что вам этот старый сыч напевает, в нем никакого чувства нет, пожалуйста ко мне, я проведу вас; из окна узнала вас, матушка, так сердце-то и забилося. Ей-богу, ведь это наша барыня идет, шепчу я сама себе да на половину к Анатолю Михайловичу бегу, а тут попался казачок Ванюшка, преедовитой у нас он, такой шпионишка мерзкой. Я его спросила: что, барин спит? — спит еще. Чтоб ему тут! — право! — не при вас буди сказано...

Все это она так проворно говорила с пресильной мимикой, что Марья Валерьяновна не успела раскрыть рта.

— Да что, Настасья, здоров ли?

— Анатолий-то Михайлович, наш золотой-то барин? — ничего, кажется, худ только, очень худ, — какое житье!.. Ведь аспид-то на то и взял его, чтоб было еще над кем зло изливать, человеку ненавистник! То есть, матушка, ржа, которая, на что железо, и то поедом ест! У Анатоля Михайловича, извольте знать, какой нрав, — не то, что наш холопский, — выйдешь за дверь да самого его обругаешь вдвое, прости господи, — ну, а они всё к сердцу принимают, особенно когда вами, матушка, начнет попрекать.

Марья Валерьяновна отерла слезы и шепнула: «Пойдем же, Настасьяшка!» — и Настасья наказала строго-настрого дворнику, если Тит подойдет казачка спросить, с кем она шла, сказать, что со швеей, мол, Ольгой Петровной, что на Маросейке живет, и повела Марью Валерьяновну по узенькой и совершенно темной лестнице, которую вряд ли мели когда-нибудь после отстройки дома. Лестница эта шла в каморку, отведенную Настасье; эта каморка была цель ее желаний, предмет домогательств ее в продолжении пятнадцати лет. Ни у кого в доме не было особой комнаты, кроме у Тита. Михайло Степанович, наконец, дозволил ей занять ее, с условием не считать ее своею, никогда в ней не сидеть, а так, покамест положить свои пожитки. В этой маленькой комнатке стоял небольшой деревянный, окрашенный временем стол; на нем стоял самоварчик, покрытый полотенцем, и две опрокинутые чашки, носившие кое-где признаки бывшей позолоты; на стенах висели две головки, рисованные черным карандашом; одна изображала поврежденную женщину, которая смотрела с картины, страшно вытаращив глаза; вместо кудрей у нее были черви, — под ней было написано *Méduse**; другая представляла какого-то жандарма в каске, вероятно, выходившего из воды, судя по голому плечу; лицо у него было отвратительно правильно, нос в роде ионийской колонны, опрокинутой капителью вниз, голову он держал крепко на сторону, под ним значилось: *Alexandre, fils de Philippe*, и под обеими: *Dess. par Anatole Stolygin*** с росчерком детской руки. Это были несомненные атрибуты няни.

— Не встретить бы кого, — заметила вполголоса Марья Валерьяновна, надвигая шляпку на лицо.

* Медуза (франц.).

** Александр, сын Филиппа. Рисовал Анатолий Столыгин (франц.).

— Ничего, матушка, не бойтесь ничего, фискала-то нашего дома нет. Вишь, староста приехал да обоз с дровами пришел, так и пошел в трахир принимать, ведь он преалчной, никакой совести нет, чаю пары две выпьет с французской, как следует, да требует бутылку белого с рыбой, да икры паюсной, — как чрево выносит?! Небось, больше восьми десятков живет — да ведь что, матушка, какой неочесливый *; и сына-то своего проведет, ну да тот не спасется от красной шапки. Покуда старый-то пес жив, так всё шито и крыто, а после мы выведем, и как синенькая бумажка в Филиповке у кучера пропала и... — Ее длинная речь *in Titum* ** осталась неоконченной; молодой человек лет около четырнадцати, худой и очень бледный от внутреннего движения, бросился в объятия Марьи Валерьяновны; он спрятал голову на ее груди; она целовала его волосы и плакала...

— Дружок мой, какой ты худенький, — говорила она ему, — здоров ли ты?

— Я здоров, маменька, — отвечал молодой человек, — совершенно здоров. Как вы, маменька, с дороги? — и он целовал ее руки.

Мать рассматривала, вглядывалась в своего сына; видно было, что его благородные отроческие черты стерли разом все ее горести, что она была безмерно счастлива на эту минуту.

Однако молодой человек, несмотря на радость свидания, был под тяжелым влиянием какой-то мысли, его улыбка была грустна. Эти лета еще не умеют скрывать таких мыслей. Он опустил глаза и сказал:

— Ну, а если папаша узнает?

— Он не узнает, мой друг.

— А как спросит у меня?

— И, батюшка, — вмешалась старуха-няня, — что это, уж такой умник и не сумеет ответ держать! Ведь правду-то сказать, это только ваш папаша воображает, что его в свете никто не проведет, а его вся дворня надувает.

Молодой человек не отвечал, но сделал движение, которое делают все нервные люди, когда ножик свистит по тарелке.

В это время вбежала в комнату молодая девка и торопливо сказала старухе няне: «Проснулся, ходит по гостиной. Анатолий Михайлович, пожалуйста, батюшка, вниз».

Молодой человек покраснел до ушей. Марья Валерьяновна простилась с ним, он вышел вон сконфуженный; она долго смотрела ему вслед, утирая слезы и покачивая головой.

Для того, однако, чтобы объяснить происходившее, мне должно еще раз отступить.

II

Ефимка возил в салазках Михайла Степановича при жизни «дяденьки», — чего же лучше, как начать с него?

Лев Степанович уже потому заслуживает это, что, несмотря на всю патриархальную доброту свою, он первый *ручной* представитель Столыгиных. Этим он обязан слепой любви родителей к его меньшему брату: Степушку никогда бы не решились отправить на службу, отдать в чужие руки; Левушку родители не жалели, и, как только он кончил курс своего воспитания, т. е. научился на б читать по-русски и писать вопреки всем правилам орфографии, его отправили в Петербург.

Послуживши лет десять в гвардии, он перешел в гражданскую службу, был советником, был президентом какой-то коллегии и очень близким человеком какого-то вельможи. Патрон его, долго умевший искусно удержаться в силе в классическое время быстрых перемен, потерял, наконец, равновесие и исчез в своих малороссийских вотчинах. Лев Степанович

* невежливый, непочтительный (моск. и владим. диалект). — *Ред.*

** на манер речи Тита (лат.).

премудро и во-время умел отделить свою судьбу от судьбы патрона, премудро успел жениться на какой-то племяннице, которую не знали куда девать и в которой кто-то принимал участие, наконец, — что премудрее всего вместе, — Лев Степанович, послужив еще до превосходительного чина, вышел в отставку и отправился в Москву для устройства имения, уважаемый всеми как честный, добрый, солидный и деловой человек.

Не надобно думать, чтобы в его удалении был один расчет или одна дипломатия; нет, причина гораздо сильнейшая звала его воротиться к более родной среде. В Петербурге, несмотря на успехи по службе, ему всё было что-то неловко, точно в гостях; ему захотелось почетного раздолья помещичьей жизни, своей воли; родители его давно умерли, Степушка был отделен, имение, доставшееся Льву Степановичу, было одно из богатейших под Москвою. Как же ему было не ехать в свои березовые и липовые рощи, в свой старый отцовский дом, где подобострастная дворня и село готовы были его встретить земными поклонами и подойти к ручке?!

В Москве он остался недолго, заложил на Язу вместо деревянного дома каменные палаты и уехал в Липовку, изредка наезжая присмотреть за постройкой. За хозяйство Лев Степанович принялся усердно; он и на службе своего имения не расстроил, а, напротив, к родовым полутора тысячам душам прикупил еще тысячу, но теперь, не вдаваясь в агрономические рассуждения, он разом сделался смышленным помещиком с той легкостью, с которой из гвардейских офицеров в год времени стал настоящим советником коллегии. Он не токмо удвоил свои доходы, но значительно улучшил состояние крестьян; в последнем отношении он был непоколебимо патриархален: и хлебом мужику поможет, и овса на посев даст, и корову или лошадь даст взамен падшей, ну да после уха держи востро. Вдруг, никто не думает не гадает, — барин со старостой и с десятскими (которые провожали обыкновенно Льва Степановича по древнему обычаю «с ваиями» в руках) на дворе: — Эй, ты, Акулина, покажи-ка горшки для молока! — Не вымыты, тут бабе и расправа. — А ты, Нефед, покажи соху, покажи борону, выведи лошадь, покормлена ли? чиста ли? — Словом, поучал их, как неразумных детей.

И мужички рассказывали долго после его смерти «о порядках старого барина», прибавляя: «Точно, бывало, спуска не даст, ну а только умница был, всё знал наше крестьянское дело досконально и правого не тронет, то есть учитель был».

Дворовых он держал без числа и меры: у него были мальчишки, единственно употребляемые днем, чтобы чистить клетки соловьев, а ночью ходить по двору, чтоб собаки не лаяли близ господского дома; у него были девочки, которых всё назначение состояло в том, чтоб зимой стирать воду с оконниц, а летом носить уголья и тазики для варенья. Нельзя сказать, чтоб такое количество прислуги его вводило в особенно важные траты: всё, начиная с самих субъектов, было домашнее, рожь и гречиха, горох и капуста, и не одна пища... — умрет корова, выделают кожу, сапожник сошьет портному сапоги, в то время как портной ему кроит куртку из домашнего сукна цвета *marengo clair* * и широкие панталоны из небеленого холста. Притом у Льва Степановича был неотъемлемый талант воспитывать дворню, талант, совершенно утраченный в наше время; он вселял с юных лет такой страх и послушание, что даже его фаворит и лазутчик — камердинер и дворецкий, Тит Трофимов, гроза всей дворни, не всегда обращавший внимание на приказы барыни, сам сознавался в минуты откровенности и сердечных излияний, что ни разу не входил в спальню барина без невольного чувства страха, особенно утром, не зная, в каком расположении Лев Степанович. Дивиться нечему. Выгоды и почет барского фавора очень недаром доставались Титу. К несчастью, он часто

* светлого маренго (франц.).

попадался на глаза: Лев Степанович был человек характерный, сдерживать себя не считал нужным, и когда утром он выходил к чаю с красными глазами, сама Марфа Петровна долго не смела начать разговора. В эти несочислимые минуты сильно доставалось Титу, — побьет его, бывало, да и пошлет к барыне: «Поди, говорит, к барыне, покажи ей свою рожу и скажи: вот, мол, как дураков учат, людей делают из скотов». Для Марфы Петровны, в ее скучной и однообразной жизни, подобные случаи служили развлечением, даже она находила своего рода удовольствие в унижении гордого и высокомерного Тита.

Действительно, развлечений в ее жизни было мало, особенно светских. Детей им бог не дал. Пыталась она и ворожить, и заговариваться, и пить всякую дрянь, и к Троице-Сергию ходила пешком, и Титову сестру посылала в Киево-Печерскую лавру, откуда она ей принесла колечко с раки Варвары мученицы, но детей всё не было. Нельзя сказать, чтоб Лев Степанович был несчастен от того, что не было детей, однако он сердился за это, как за беспорядок, и упрекал в минуты досады свою жену довольно оригинальным образом, говоря: «Мне жену бог даровал глупее таракана; — что такое таракан? — нечистота, а детей выводит...», при этом видно было гордое сознание, что он с своей стороны себя в этом не винил; да, и в самом деле, без вопиющей несправедливости мудро было винить Льва Степановича, взяв во внимание хоть одно разительное сходство с ним поваровых детей. Главное, что сердило Льва Степановича, это — отсутствие цели в хозяйстве и устройстве имения. «Я, — говаривал он, — денно и нощно хлопочу, и запашку удвоил, и порядок завел, и лес берегу, и денег не трачу, а подумаю, на что, сам не знаю; точно управляющий братнина сына, тот и возьмет всё да и спасибо не скажет, — старый, мол, дурак уладил мне именье, нагрел место; оно, конечно, это мой долг, на то я богом и поставлен помещиком, чтобы хозяйничать, на том свете с меня спросится; а все-таки лучше, если бы был истинный наследник, так бы с молодых лет его и приучал!»

И Лев Степанович грустно качал головою, сидя на жестких креслах, обитых черной кожей, приколоченной медными гвоздочками. Марфа Петровна горько плакивала от подобных разговоров и за светские лишения прибегала к духовным утешениям.

Возле самого господского дома иждивением Льва Степановича была воздвигнута каменная церковь о трех приделах. Спальня выходила окнами к колокольне; при первом благовесте Марфа Петровна поспешно одевалась и являлась ранее всех в храм божий. Лев Степанович приходил позже, и то по большим праздникам и в воскресные дни. Марфа же Петровна являлась при всех богослужениях, на похоронах, крестинах, бракосочетаниях. Лев Степанович становился впереди, помогал клиросу в пении и бдительным оком смотрел за порядком, сам драл за уши и за волосы шаливших мальчишек и через старосту показывал миру, когда надобно креститься и когда класть земные поклоны.

В пятнадцати верстах от главной усадьбы был монастырь. Лев Степанович посылал туда не столько богатые, сколько постоянные приношения: возов десять прошлогоднего сена, овес, не годный на семена, сырые дрова и тому подобное. Марфа Петровна, с своей стороны, делала приношения, тоже более ценные по усердию, нежели по чему иному: она посылала розовую и мятную воду, муравьиный спирт, сушеную малину, которую иноки, не зная, что с нею делать, употребляли для настаивания вина; несколько банок белых грибов в уксусе, искусно уложенных так, что с которой стороны ни посмотришь, все видны одни белые грибы, а как ложкой ни возьмешь, всё вынешь или березовик, или масленок, а если и попадется белый, то огромной величины шляпик. Иноки иногда посещали благочестивый дом прибежного к храму божью

помещика и всегда находили радушный прием Марфы Петровны, рассказывая ей длинные повествования о Соловецком монастыре и о Саровской пустыни, где всенощное бдение продолжалось до рассвета.

Гостей почти не являлось в усадьбе Льва Степановича; впрочем, у него в доме были постоянные гости.

Ехавши из Петербурга, Лев Степанович дозволил Марфе Петровне пригласить к себе на житье ее дядю, не главного, а так, дядю-старика, оконтуженного в голову во время турецкой кампании, вследствие чего он потерял память, ум и глаза. Настоящий дядя, не зная, куда его деть, наемнул Льву Степановичу, и Лев Степанович согласился на просьбу Марфы Петровны принять <его> в дом. Слепой старик был женат на молдаванке, у которой в доме лежал раненый; она была не в первой молодости и, несмотря на большие римские глаза, отличалась великим смирением духа. Месяцев через шесть после приезда Льва Степановича приехал дядя с женой. Марфа Петровна, призывая их, твердо была уверена, что она этим загладит все свои грехи и, может быть, сделает доступнее молитвы о даровании детей. Обращение, сложившееся между хозяевами и гостями, было довольно странно. Марфа Петровна называла старика дядей, но жену его не только не называла теткой, но говорила ей «ты» и в иных случаях позволяла ей целовать у себя руку. Лев Степанович говорил обоим «ты» и обращался с ними так, как следует обращаться с людьми, вполне зависящими от нас, — с холодным презрением и с оскорбительным выказыванием своего превосходства. Он их трактовал, как мебель, как вещь, не очень нужную, но к которой привык и против которой, действительно, ничего не имел. В редкие минуты, когда Лев Степанович был весел, слепой старик служил предметом всех шуток и любезностей Льва Степановича.

— А, добро пожаловать, — кричал он, — добро пожаловать, отец Ксенофонтий! Эй, — продолжал он, — Васильич (так называл он дядю), не видишь, что ли, отец Ксенофонтий идет тебя благословить?!

— Не вижу, государь мой, — отвечал слепой.

— Да вот с правой-то стороны.

И он посылал Тита благословлять старика, и тот ловил его руку. Лев Степанович хохотал до слез, не догадываясь, что самое пикантное в этой комедии состояло в том, что выживший из ума старик с той остротой слуха, которая обща всем слепым, очень хорошо знал, что отец Ксенофонтий не входил, и представлял только для удовольствия патрона, что обманут. Но верх наслаждения для Льва Степановича состоял в том, чтоб накласть на тарелку старику что-нибудь скромного в постный день, и когда тот с спокойной совестью съедал, он его спрашивал: «Что ты, на старости-то лет в Молдавии в турецкую <веру>, что ли, перешел? В какой день скромное ешь?!» У старика делались спазмы, он плакал, полоскал рот, делался больным, — это очень забавляло Льва Степановича.

Лев Степанович был бы сильно обижен, если б старик уехал от него. Лев Степанович не позволил бы никому его оскорбить, даже иногда баловал его подарочком — старым камзолом, протертым шейным платком, но за всё это вознаграждал себя непрерывным преследованием старика.

Утро слепой обыкновенно проводил в своей комнате во флигеле, где курил сушеный вишневыи лист, перемешанный с венгерскими корешками. В половине второго девка, приставленная за ним, надевала на него длинный синий сюртук, повязывала белый галстук и приводила в столовую. Здесь он дожидался, сидя в углу на особенных креслах, торжественного выхода Льва Степановича, и горе бывало старику, если опоздает, и Лев Степанович придет в столовую прежде: тут доставалось ему, и Таньке, служившей при нем корнаком *, и молдаванке, и, — я почти

* поводырем (франц. «cognac»).

LE

MONDE RUSSE

PAR

LA RÉVOLUTION

REVISÉS DE A. BERZEN

1812 — 1835

TRADUITS PAR H. DELAVEAU

ILLUSTRATIONS DE A. SCHERER

UNE AUTRE ÉDITION PAR L'ARTISTE



PARIS

E. DENTU, LIBRAIRE-ÉDITEUR

PALAI-NATIONAL, 45, GALVRIE D'ORLÈANS

—
1860



CHAPITRE PREMIER.

Ma nourrice et la grande Armée. — Journée de Moscou. — Entrevue de mon père avec Napoléon. — Le camp de Balaïski. — Voyage avec des prisonniers français. — Acte de justification. — Calice. — Admiration des commodes de nos lieux. — Le partage. — Le soulier.

— « Ma bonne Vera Ariamonovna, racontez-moi donc encore une fois l'entrée des Français à Moscou ? » — disais-je à ma nourrice, en m'allongeant dans mon petit lit, entouré d'une bande de toile pour me préserver des chutes; et je m'enveloppai dans ma couverture de piqué blanc.

— « Comment pouvez-vous aimer à entendre de

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ И СТРАНИЦА ФРАНЦУЗСКОГО ИЗДАНИЯ «БЫЛОГО И ДУМ», 1860 г.

Книга появилась в переводе А. Делаво, с измененным названием «Русский мир и революция». Иллюстрации А. Шенна

На рисунке: «Семейная сцена в доме Яковлевых» («Раздел»)

уверен, что и Титу доставалось по дороге. Старик подвязывали салфетку и сажали его за стол, где он смиренно дождался, пока Лев Степанович ему пришлет рюмку настойки, в которую сам Лев Степанович всегда подливал воды. За столом старик не смел ничего просить да не смел ни от чего и отказаться, даже больше двух стаканов квасу с мятой ему не дозволялось пить. Подадут ли дыню, Лев Степанович вырежет лучшую часть, а корки положит ему на тарелку. Марфа Петровна делала то же со зрячей молдаванкой, прибавляя, что это сущий вздор, будто только мягкую закраину дыни можно употреблять во снедь.

Иногда Лев Степанович будил в старике что-то похожее на чувство человеческого достоинства, и он дрожащим голосом напоминал Льву Степановичу, что ему грешно обижать слепца и что он все-таки дворянин и премьер-майор по чину.

— Премьер-майор, — отвечал Лев Степанович, у которого кровь бросалась в лицо от такой дерзкой оппозиции, — да ты бы ехал в полк, ха, ха, ха, ну что же делать, не по праву я тебе пришелся, прости великодушно, а уж переучиваться мне не под лета: ведь я тебя не на веревочке держу, ступай опять в Молдавию.

— Не забывайте, Лев Степанович, — робко прибавляла Марфа Петровна, — что всё же он мой дядя и вам, стало, сродник.

— Вот, в самом деле! — возражал еще более разъяренный Лев Степанович, — скажите на милость, научили глупого старика, ха, ха, ха, а я ведь и не знал! Спасибо вам, матушка Марфа Петровна! А знаешь ли ты, что кабы он не твой дядя был, так и не сидел бы не то что за столом у меня, а и под столом. Майорством мне пригрозить хочет, слепая дура!

Испуганная майорша дергала за рукав мужа в этих случаях и начинала плакать, прося простить неразумного слепца, выжившего из ума и не умеющего ценить благодеяния. У старика текли по щекам тоже слезы, но как-то очень жалкие; он походил на беспомощного ребенка, обижаемого грубой толпой, без всяких средств обороны.

После обеда все ложились спать. Пока Лев Степанович отдыхал, Тит должен был стоять у дверей и, когда Лев Степанович ударит в ладоши, Тит должен был входить с кувшином кислых щей. Иногда в это время Тит бегал в девичью и приказывал, по именному назначению, той или другой горничной налить ромашки и подать барину, что «де, на животе не хорошо», и та с трепетом бежала к Агафье Ивановне за ромашкой, и Агафья Ивановна, «ворча» сквозь зубы, сыпала вонючую траву в чайничек. Марфа Петровна никогда не посещала мужа во время частых припадков его, ограничивая свое участие разведыванием, кто именно носил ромашку, для того, чтоб при случае припомнить такую услугу и такое предпочтение...

Лев Степанович, запивши сон кислыми щами или ромашкой, отправлялся по полям и часов в шесть являлся в чайную комнату, где у стены уже сидел на больших креслах слепой майор и вязал чулок, единственное умственное занятие, которое осталось у него. Иногда старик засыпал; Лев Степанович не мог этого выносить и тотчас кричал горничной Таньке: «Не зевай!» И Танька будила старика, который, проснувшись, уверял, что он и не думал спать, что он по ночам плохо спит от поясницы. После чая приходил староста и земский с работ. После старосты Лев Степанович вынимал довольно не новую колоду карт и играл в дурачки с женой и молдаванкой. Когда он бывал в особенно хорошем расположении, то середь игры рассказывал в тысячный раз отрывки из аристократических воспоминаний своих: как покойник граф его любил, как ему доверял, как советовался с ним. «И, однако, дружба дружбой, а служба службой; бывало, задаст такую баню — стоишь себе, повеса голову, а он-то в гнев бумажки побросает на пол, кричит: „Да что у тебя в голове, сено наложено, что ли?! Как, столько служишь при мне, и не знаешь моего праву?»

Езоп эдакой! " Иной раз и чувствуешь, что правехонек, ну да уж и не отвечаешь, надо дать место гневу; он же терпеть не мог, когда отвечают. Тогда было жутко, бывало, грешный человек, и посетуешь, а теперь с благодарностью вспоминаю, как граф поучал.

Всего же более он любил останавливаться с большими подробностями на том, как граф его посылал однажды с бумагой к князю Григорию Григорьевичу... «Утром встал в пять часов. Тит тогда мальчишкой был, не разъедался еще, как теперь, что гадко смотреть, — ходит, с ноги на ногу переваливается, — я-де дворецкой; тогда был полегче, а такой же лентяй и преглупый. Выхожу в переднюю, а он еще спит. Я его растолкал да скорее за парикмахером. Причесали меня, тогда вот эдак три пукли носили одна под другой, — я надел мундир, взял шляпу с плюмажем, еду к князю. Вхожу в переднюю, говорю человеку, что вот-де по такому делу от графа. Человек посмотрел на меня, видит, что с двумя лакеями приехал: „Раненько изволили приехать, говорит, князь не встает раньше десяти часов, а теперь восьми нет; после десяти, я, мол, доложу камердинеру“. — „А можно, любезнейший, — говорю я ему, — здесь подождать где-нибудь?“ — „Как не можно, комнат у нас довольно; вот пожалуйста в залу“. Я взошел в залу, люди полы метут да с окон пыль сметают, я сел в уголок и сижу. Часика через два вышел секретарь, что ли, или камердинер и прямо ко мне. — „Вы от графа?“ — „Я, государь мой“, — отвечал я, вставая. — „Пожалуйте к его светлости в гардеробную“. Вхожу. Князь изволит в пудермантеле* сидеть, и один парикмахер в шитом французском кафтане причесывает, а другой держит на серебряном блюде помаду, пудру и гребенки. Князь взял бумагу да таким громким голосом мне и молвил: — „Благовари графа, я сегодня же доложу об этом деле. Мне граф о тебе говорил, что ты деловой и усердный чиновник; старайся вперед заслуживать такой же отзыв“. — „Светлейший, мол, князь, кажется, жизнь свою готов положить на службу...“ — „Хорошо, хорошо, — сказал князь и изволил со стола взять табакерку золотую, — вот за твое усердие государыня тебя жалует“. Как он это сказал, у меня слезы в три ручья. Я хотел было руку поцеловать у светлейшего, он ее отдернул, я в плечо его. Князь взглянул на меня да как изволит рассмеяться, а сам пальчиком парикмахеру указал, и тот на меня взглянул да и давай хохотать. Что за притча, думаю. „Ну ступай, ступай, мой милый“, — сказал князь, так ласково кивнув головой. Я, целуя в плечо князя, весь вымарался в пудре. Князь потом за столом у государыни изволил об этом рассказывать. Ей-богу!..» И во всем лице Льва Степановича распространилась гордая радость.

Но большею частью, вместо аристократических рассказов и воспоминаний, Лев Степанович, угрюмый и «гневный», как выражалась молдаванка, притеснял ее и жену за игрой всевозможными мелочами и капризами: бранил, бросал, сдавая, карты на пол, дразнил их и так добивал вечер до ужина. В десятом часу Лев Степанович отправлялся в опочивальню, замечая: «Слава богу, вот день-то и прошел».

Перед спальней была образная, маленькая комната, которой восточный угол был уставлен большими и драгоценными иконами. Перед ними вечно теплилась лампадка из деревянного масла. Лев Степанович усердно и долго молился, кладя в нужных случаях земные поклоны, или, по крайней мере, касаясь перстом до земли. Тут он отпускал Тита и отправлялся в спальню. А Тит, пользуясь единственно свободным временем, шел в гости или к Исаю-рыбаку или к обручнику Никифору, людям зажиточным и гостеприимным, а всего чаще к старосте, который постоянно покупал на мирской счет сивуху для дворни. Тит брал с собой по выбору кого-либо из

* *Pudermantel* (нем.) — накидка, которую надевали во время припудривания волос.

старейшин передней, особенно же Митьку-цирюльника, потому что тот лихо играл на гитаре.

Долго жил так доблестный помещик Лев Степанович, бог знает для чего устраивая и улучшая свое имение, усугубляя свои доходы и не пользуясь ими. Дом его с селом составлял какой-то особый мир, которого центром был Лев Степанович, мир, совершенно разобщенный со всем остальным миром чертою, проведенною генеральным межеванием. Даже газеты не получались в Липовке; войны раздирали Европу, миры заключались, торжествовались победы, совершались великие события, а в Липовке всё шло нынче, как вчера — вечером игра в дурачки, утром сельские работы, Тит всё так же стоял у дверей с квасом после обеда, и никто не токмо не говорил, но и не знал и не желал знать о всемирных событиях.

Но так как всему временному есть конец, то пришел конец и Льву Степановичу, и конец весьма крутой. Однажды после обеда, употребив довольно много борщу, буженины, жареной индейки с моченой брусникой и смочив всё это квасом, — ибо Лев Степанович почти никогда вина не употреблял, хотя и пил перед обедом рюмку водки, иногда после обеда рюмку наливки и в редких случаях с чаем ром, — Лев Степанович перешел в гостиную закусить обед арбузом, который он остроумно называл красным сахарцем, тогда как чай постоянно именовал китайской водицей. Освежившись красным сахарцем, он было пошел в кабинет, да по дороге встретил Настьку, говорившую с известным уже нам музыкантом и цирюльником Митькой. Лев Степанович был чрезвычайно ревнив во всё, что касалось до горничных; ему что-то померещилось не совсем хорошее в выражении Митькина лица. Он закричал на Митьку и схватил в углу стоявшую палку. Митька, горячая голова, как все артисты, ударился бежать; Лев Степанович за ним, со всем грузом буженины и кваса под арбузом; Митька от него, он за ним, тот навверх, на чердак... На крик барина явился Тит, прибежала вся дворня. Барин, багровый от гнева, велел поймать Митьку. Его на чердаке не нашли. Барин велел сыскать хоть под землею и посадить в колодку, пока он решит судьбу инсургента, а сам, усталый, запыхавшись и дрожа от гнева, пошел в кабинет уснуть.

Случай этот распространил ужас и беспокойство в доме, в людских, в кухне, в конюшне и даже в избах. Агафья Ивановна ходила служить молебн и затеплила свечку в девичьей перед иконой всех скорбящих заступницы. Марфа Петровна ходила по комнатам, не зная, что начать. Молдаванка, несколько сбивавшаяся на поврежденную, поминала царя Давида и всю кротость его и читала «Свят, свят, свят», как читают во время грозы.

Тит с двумя десятскими нашел Митьку в питейном доме; он громко кричал, что хочет в солдаты, что если его не отдадут, то сделает над собой грех, и решительно отказывался идти. — «Митрий, а Митрий, ты не горлань! — говорил ему Тит, — барина рука длинная, везде достанет, а ты не горлань, а ступай лучше со мной». И Митька пошел и шел всю дорогу «барыню» с разными вариантами.

Посадив своего друга в колодку, неумытный Тит побежал к двери, с кислыми щами и с еще более кислым лицом, прислушиваясь к каждому шороху.

В пять часов Марфа Петровна присылала босую горничную узнать, изволил ли барин проснуться. Тит молча помахал рукой и приложил палец к губам. В шесть пришла сама Марфа Петровна к дверям. «Кажется, еще не изволили просыпаться, — отвечал шопотом Тит, — вот с час было слышно, изволили храпеть». Марфа Петровна взшла в кабинет и вдруг закричала. Тит уронил от испуга кувшин с кислыми щами. Закричать было немудрено: старый барин лежал, растянувшись, возле кровати, один глаз был прищурен, а другой совершенно открыт, с тупым и мут-

ным выражением, рот немного перекосялся и несколько капель кровавой пены текло по губам.

С минуту продолжалась совершенная тишина, но вдруг, откуда ни возмись, хлынула в комнату вся дворня, и грозный Тит не препятствовал, а стоял, как вкопанный. Однако, более сильный характер, он первый пришел в себя и снова с тем повелительным голосом, которым говорил лет двадцать, сказал:

— Сенька, что тут зевать, внесите сюда корыто! А ты, Ларька, скорей за батюшкой сбегай! Да нет ли у вас, Агафья Ивановна, пятака, на правый-то глаз надобно положить.

Марфу Петровну вынесли в обмороке. Молдаванка взбежала в комнату с каким-то неестественным хныканьем и, поскользнувшись в луже кислых щей, чуть не сломила себе ногу.

Освобожденный арестант, Митька, без всякой гапсине* приготавлился, как записной грамотей, ночью читать, взапуски с земским и с дьячком, псалтырь и для этого просил у молдаванки подарить нюхательного табаку, чтоб не уснуть.

Дворня была испугана и сконфужена. Они доставались человеку неизвестному; нрав старого барина они знали и применились к нему, теперь приходилось начинать вновь службу... и как, что будет? Кто останется, кто нет, на каком положении? — всё это волновало умы и заставляло жалеть о покойнике.

Через два дня Тит написал к будущему обладателю следующее письмо:

«Все — Милостивейший Государь, Государь батюшка и единственный заступник наш Михаил Степанович.

По приказанию Тетушки Вашей, а нашей Госпожи Марфы Петровны. Приемлю смелость начертать Вам, батюшка Михайло Степанович, сии строки, так как по большому огорчению они сами писать сил не чувствуют. Богу же угодно было посетить их великим несчастьем — утратою их и нашего отца и благодетеля, о упокоении души коего должны мы до скончания дней наших молить Господа и Дядиньки Вашего в бозе почившего Льва Степановича, то есть скончавшегося сего месяца в двадцать третье число, в 6 часов пополудни. О чем слезно имеет счастье уведомить Вашу Милость через меня, раба Вашего.

Так как по известности мы Ваши, то батюшко и все — Милостивейший Государь Михайло Степанович можете не оставить недостойных подданных Ваших. Чувствуем, как обязаны Вашему здоровью до конца нашей жизни усердствовать, что Дядюшке то и Вам. Как вся дворня, так и выборный Трофим Кузьмин с миром.

Нижайший раб Ваш Тит, если изволите помнить, что при покойном Дядюшке Камердынером находился.

Село Липовка. Июня 25-го дня 1794 года».

(То есть около 9-го Термидора. Переворот в Липовке совпал с переворотом во Франции).

III

Михайло Степанович был сын брата Льва Степановича, Степана Степановича. В то время как Лев Степанович посвящал дни свои блестящей гражданской деятельности, получал высокие знаки милости и одобрения, карьера меньшого брата его, Степана Степановича, разыгрывалась на ином поприще.

Любимец родителей, баловень и «неженка», как выражалась дворня, он оставался в деревне. В двенадцать лет старуха-няня мыла еще его каждую субботу в корыте и приносила ему с села лепешки, чтоб он хорошенько

* злопамятства (франц.).

позволил промылить голову и не кричал на весь дом, когда мыльная вода попадёт в глаза. Лет четырнадцати признаки раннего совершеннолетия начали ясно сказываться в отношениях Степушки к девицкей. Матушка его, не слышавшая в нем души, не токмо не препятствовала развитию его ранних способностей, но со слезами умиления смотрела на нежное сердце сына и во многом помогала ему, что при ее средствах и гражданских отношениях к девицкей и не представляло непреодолимых трудностей. Нежные чувства, питаемые с такого нежного возраста, вскоре поглотили всего Степушку; вероятно, как выражаются нежные поэты, любовь была единственным призванием его; он с четырнадцати лет и до кончины своей был верен избранному пути буколического помещика.

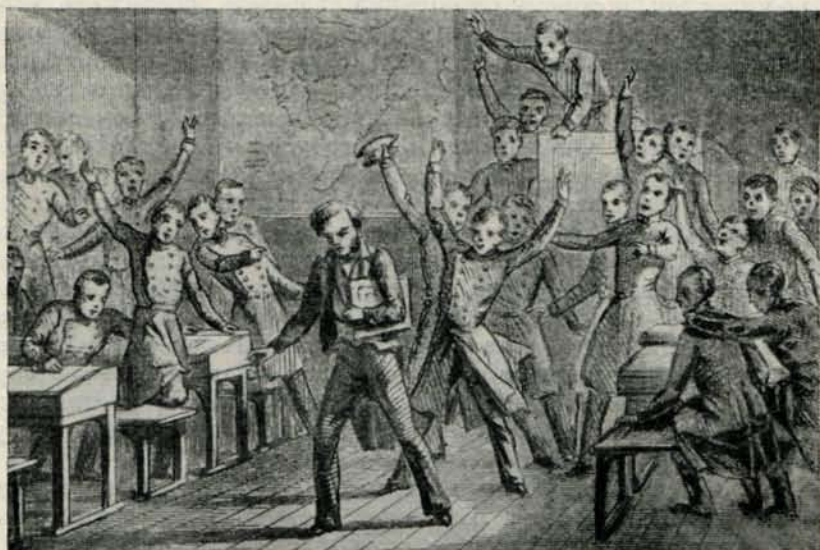
Степушка недолго пользовался покровительством родителей, недолго жил под крылышком своей матушки: ему было 18 лет, когда он ее лишился, а через четыре года умер и отец его. Лев Степанович сам приезжал из Петербурга насчет раздела. Смерть родителей и честное предание их тела земле не доставило Степану Степановичу столько беспокойства и сердечной муки, как приезд брата; он его боялся, советовался со своими подданными, что ему делать, и не мог без содрогания вздумать, как они будут делить дворовых, к числу которых принадлежала девицка. Степан Степанович взял свои меры: всех горничных велел запереть в поваровой комнате, оставив налицо только таких, которые имели значительные недостатки в лице, сильную шадровитость, косые глаза и тому подобное. Лев Степанович всё понял, обделил неопытного брата, закупив его пустыми уступками, предоставил ему почти весь прекрасный пол и, благословляемый им, уехал назад.

Проводивши брата, Степан Степанович, потирая руки от удовольствия, что тот не догадался о его спрятанных сокровищах, деятельно принялся за устройство имения. Он купил двух музыкантов и приказал им учить дворовых девок петь. Хоры составились славные, учителя играли один на торбане, другой на кларнете. В праздничные дни сгоняли с утра крестьянских девок и баб на лужок перед домом для хороводов. Степан Степанович после обеда выходил к ним, — да, вы, пожалуйста, не ошибитесь, это все-таки значило: утром, часу во втором. Он обыкновенно садился в сёнях, в халате нараспашку; около него стояли лучшие представительницы девицкей, обмахивая мух и приготавливая чай, который Степан Степанович употреблял в большом количестве, больше как благопристойного друга французской водки, нежели за внутренние достоинства. Степан Степанович сам угощал гостей цареградскими стручками, пряниками, брагой и грошевыми серьгами, сам участвовал в танцах и к вечеру так напивался чаем, что две грации отводили его домой.

Материальной частью хозяйства Степан Степанович, как все сентиментальные натуры, заниматься не любил; староста и повар управляли довольно самодержавно всюю вотчиною. До барина доступ был нелегок, да кому и случалось с ним молвить слово, остерегался проболтаться, особенно с тех пор, как одна крестьянка с большими и черными глазами пожаловалась барину на старосту, а барин велел старосту на конюшне наказать, не давши себе труда разобрать, что баба была совершенно не права. Староста обмылся пенником и кротко вынес наказание, не думая оправдываться; но желание мести сильно запало в его душу. Спустя неделю, другую, староста через повара доложил барину, что такая-то баба балуется, и, несмотря на приказ, в очень близких сношениях с своим мужем, что ей было запрещено. Поступок этот, так грубо неблагодарный, огорчил Степана Степановича; он велел ее без очереди назначать в работу. Худая и состарившаяся через год, она на себе носила доказательство, что приказ его был исполнен в точности.

Веселая жизнь Степана Степановича стала скоро известной в околдке; явились соседи, — одни с целью его женить на дочери, другие — обыграть, третьи, более скромные, познакомились потому только, что им казалось пить чужое вино и чужой пунш выгоднее своего. Он поддавался всему, — весьма вероятно, что его бы женили, обыграли, но — нежное сердце его спасло.

Посещая одного из своих соседей, он увидел у него горничную Акулину и влюбился, да ведь как! есть перестал, а пить стал вдвое больше. Подумал он после дома, подумал, видит, что такой страсти переломить невозможно; опостылела ему девичья, и если он иногда дозволял себе кое-какие шалости, то это больше, чтоб не отставать от привычек, нежели из удовольствия. Мучился он, мучился да и пристал к соседу: продай



ИЗГНАНИЕ СТУДЕНТАМИ ПРОФЕССОРА МАЛОВА

Иллюстрация А. Шенка из французского издания «Былого и дум», 1860 г.

Акульку. Сосед поломался, потом согласился продать, но с условием, чтоб Степан Степанович купил всю семью: «Я, говорит, не хочу разлучать, что бог соединил». Степан Степанович на все согласился и заплатил ему 3500 рублей; по тогдашним ценам на такую сумму можно было купить десять Акулек и столько же Дуняшек с их отцами, братьями, сестрами и матерями.

Сельская Брунегильда поняла, именно по сумме, заплаченной за нее, ширь своей власти и в полгода привела нашего Меровинга в полнейшую покорность. Померкло влияние повара, ослабла сила старосты. Отец Акулины Андреевны был сделан дворецким, мать ключницей, да она и им потачки не давала, а держала их в страхе и повиновении. И всего этого было ей мало; более близкая по характеру к Наполеону, нежели к Кромвелю, она захотела быть помещицей, она стала питать династические интересы. И Степан Степанович поехал в четырехместной карете покойного родителя своего в церковь и обвенчался.

Брак их, не так, как брак Льва Степановича, не остался бесплодным. В сенях господского дома, когда они возвратились, сперва подошли к ручке и поздравили новую барыню ее родители, а потом поднесла кормилица сына десяти месяцев — нашего Михаила Степановича.

После свадьбы барин сделался миф<ом>. Акулина Андреевна приняла бразды правления. Она с глубоким и основательным политическим тактом взяла все меры, чтобы упрочить свое самовластие; но, как всегда бывает, взявши все меры, она все-таки упустила из виду одну из возможных причин переворота [и на ней всё оборвалось]*. Мало знакомая с физиологией и патологией, она не знала, что организм человеческий только до известной степени противодействует алкоголю. Лет через семь после бракосочетания синий Степан Степанович, хромой от паралича и толстый от водяной, отдал богу душу.

Это было в самое то время, когда Лев Степанович отделявал свой дом на Яузе.

Получивши весть о смерти брата, Лев Степанович в первые минуты горести попробовал было опровергнуть брак покойника и законность его сына, но чиновник, которому он поручил разведать, убедил его, что Акулина Андреевна взяла все меры еще при жизни ее мужа и что четырнадцатую часть ей выделяют во всяком случае да еще его заставят заплатить протори. Больно было Льву Степановичу, но он покорился несправедливой судьбе и, как настоящий практический человек, тотчас придумал иной образ действия. Он написал к вдове письмо, полное родственного участия, и звал ее в Москву для окончания дела и для того, чтоб показать ему наследника его брата, а может, и его собственного, пешись о котором он считал священнойшею обязанностью, ибо судьбою и богом назначен ему в опекуны. Весьма вероятно, что Акулина Андреевна не повезла бы своего сына по письму дяди, но после смерти Степана Степановича люди стали что-то грубо поговаривать, а иногда даже и перечить с таким видом, что Акулине Андреевне показалось безопаснее переехать в Москву. Лев Степанович плакал при свидании с Мишей, благословил его образом, в припадке семейных чувств выделил отличную часть имения Акулине Андреевне и взял на себя все хлопоты по опеке над племянником, устранив всякое влияние матери.

Оно вскоре устранилось и другим образом. Своей четырнадцатую частью прельстила Акулина Андреевна поручика из ординарцев при московском главнокомандующем, и сама прельстилась его ростом и его дебелий и свирепой красотой, совершенно противоположной рыхлой наружности аркадского покойника. Она не могла удержаться, чтоб не выйти за него замуж. Роли переменялись. Поручик с четвертого дня начал бить жену, жену, которая «ада и небес едва не досягала». Акулина Андреевна с горя стала попивать подслащенные наливки; не знаю, что с нею стало потом; через год поручик, сделавшись капитаном, получил хорошее место по кригс-комиссариатской части, где-то на Черном море, куда увез и супругу свою. Лев Степанович требовал, чтоб племянник его остался в Москве. После легких прений мать согласилась и вотчим тоже, основываясь на том, что он место долею получил за некоторые дружеские пожертвования, а частью по ходатайству Льва Степановича, вследствие чего берег дружбу его на черный день.

IV

Мише было лет десять. Воспитание его не было сложно: простое патриархальное, деревенское воспитание того времени; оно ограничивалось с физической стороны развитием непобедимого пищеварения, с нравственной — укоренением высокого мнения насчет столбового происхождения и верного взгляда на отношения помещика к дворовым. Воспитание

* Слова: и на ней всё оборвалось — зачеркнуты, очевидно, по ошибке; на полях поставлен вопросительный знак.

это не столько было отвлеченно и книжно, как практично, en action *, и по тому самому имело несомненный успех; воображение десятилетнего мальчика гораздо сильнее поражалось таким преподаванием, нежели всяким школьным. Его окружала толпа оборванных, грязных и босых мальчиков, которых он щипал и бил, которых нежная родительница его секла, если он жаловался.

Один более свободный товарищ его игр был сын сельского священника, отличавшийся белыми волосами, до того редкими, что они не совсем покрывали череп, и способностью в двенадцать лет выпивать чайную чашку сивухи, не пьянея. Иногда сын священника осмеливался делать кой-какие грубости Мише: не позволял ему себя тотчас поймать в горелках, когда Мише приходилось гореть, обгонял его взапуски, сам ел найденные ягоды. Мишу это чрезвычайно оскорбляло; разумеется, и Акулина Андреевна не могла оставаться равнодушною к такому нарушению приличий; она подзывала к себе сына священника и поучала его следующим образом: «Ты, толкоконный лоб, помни у меня и чувствуй, что я тебе с кем позволяю играть. Ты воображаешь, что это дьяков сын. Дурачок! с ровней, что ли, играешь! Ты должен уступить помещику, неуч!»

Матушка-попадья, бывало, как услышит подобное слово, тотчас, не вступая в дальнейшее разбирательство дела, поймает сына за бедные волосенки, как-то приправленные на масле, приносимом для лампады тихвинской божией матери, — и довольно ловко представляла вид будто бесщадно дерет его за волосы, приговаривает: «Ах ты, грубиян эдакой, поганый, вот истинно дурья порода! Простите матушка, Акулина Андреевна, извольте сами, матушка, знать, какой ум в наших детях, так, мужики, никаких обращений. А ты благодари барыню, что изволит обучать». — И она наклоняла его голову и сама кланялась.

Миша после напоминал своему приятелю, торжествуя над ним, но тот, обиженный, в свою очередь присовокуплял: «Ведь, всё врет, мать-то, только так горячку порет — для господ». Разумеется, всё это вместе способствовало к прочному развитию не столько любезного, сколько столбового характера.

Странно показалось Мише после такой привольной жизни в доме у дяди, но он и недолго прожил в нем. Двоюродная тетка Льва Степановича выпросила его к себе, воспитывать со своим сыном, который, говорила она, был один и скучал. Лев Степанович побаивался княгини и согласился. Побоялся он ее потому, что она сильно любила болтать и имела большие связи в Петербурге. Что она могла ему сделать болтовней и связями, не знаю, да и он не знал, а трусил. Княгиня была богата, держала большой дом, ничего не делала, кроме важных визитов, и не находила времени присмотреть за детьми; оно же и не вовсе было нужно. Она взяла для сына гувернера; рекомендованный самим Вольтером Шувалову во время его путешествия, Шуваловым — княгине Дашковой, Дашковой — нашей княгине, он самоуправно управлял делом воспитания. Гувернер был неглупый человек, с легким, но блестящим образованием и со всеми недостатками француза, из которых половина была очень мила; он был *blagueur* **, он был высокомерен, дерзок, но зато остер и весел; с улыбкой превосходства смотрел он на всё русское, от роду не слышал, что есть немецкая литература и английские поэты, как следует знал на память Корнеля и Расина, знал энциклопедистов и Вольтера, даже понимал несколько древние языки, даже любил поразить стихом из Virgilia или Горация [который произносил в этом роде: Беатюс ки прокюль негосиис, патерна сксерсит бобиос сюис. Само собою разумеется] Наш гувернер был

* в действии (франц.).

** хвастун (франц.).

поклонник Гельвециевой философии и учений Жан-Жака; он с жаром толковал о равенстве, несмотря на то назывался *chevalier** и никогда не забывал ставить «де» перед своей звучной фамилией: Дрейяк. Он с улыбкой сожаления говорил о католицизме и проповедовал какую-то религию собственного изобретения, состоявшую из поклонения закону тяготения, потому что без него был бы хаос, что им поддерживается «великий порядок», в котором только человеку открывается «великий художник». При развитии этих глубоких истин он всегда присовокуплял, не знаю для чего, что Платон высшее бытие называл геометром, а Ньютон снимал шляпу при имени бога. Сверх своей религии тяготения, он упорно не хотел суда на том свете, хотя против бессмертия души ничего не имел. Говорят, что сверх должности гувернера он исполнял многие обязанности покойного князя, но я этому никогда не верил.

Учение шло весело и легко. Дрейяк заставлял учеников декламировать, читать вслух, а больше всего болтал с ними. Он мог всегда говорить без различия предмета, без различия пола и возраста беседовавших, — и потому Миша и князь отлично выучились слушать по-французски, а потом и довольно хорошо говорить.

Миша долго грустил в доме княгини; он был похож на дикого зверька, посаженного в клетку, смотрел к лесу и тайком утирал слезы, вспоминая о своей жизни в Липовке. Сметливый от природы он хорошо заметил, что первая роль не ему принадлежит: он был «братец», он был «*cher cousin*»**, в то время как князь был самим собою. Он равно видел это различие и в обращении княгини, и в обращении постоянных гостей ее, даже в обращении дядьки; старик без возражения исполнял приказы князя, а Мише часто говорил, что ему некогда, что у него не шесть ног, что можно послать кого-нибудь помоложе. Глубоко оскорбляемый всем этим, Миша дулся, сидел в углу и смотрел исподлобья. Дрейяк это относил к дикости, другие и не замечали.

Видя безуспешность своих протестаций, Миша переломил себя, стал ласков, послушен и мало-помалу сделался любимцем не только Дрейяка, но даже всей дворни. Княгиня не могла надивиться, какой он смиренный и неглупый мальчик. Но смиренный мальчик в одиннадцать лет, подчиняясь всем и всех слушаюсь, ставил на своем с ловкостью дипломата, достигал всего, чего хотел.

Князь не любил учиться, он был рассеян, скучал за уроками. Миша понял это, и с той минуты сделался прилежен. Дрейяк не мог надивиться способностям «маленького дикаря» и пророчил ему блестящую будущность. Начав учиться из зависти и из затаенного желания унижить соперника, он втянулся в самом деле не столько в науку, как в чтение; шестнадцати лет он перечитал всю библиотеку гувернера. Дрейяк чуть не плакал, слушая, как Миша цитировал ко всему на свете места из «*Rucelle*»***, из «Кандида», из «Жака-фаталиста».

Мало-помалу воспитание молодых людей пришло к концу. Они писали французские записочки правильнее русских. При всей лени даже князь знал мифологию и французскую и римскую историю; больше и не требовалось в то время от русских. Тогда еще русской литературы не выдумывали, русских журналов и не снилось никому, разве одному Новикову; русской истории тоже еще не было открыто — знали только, что царствовал мудрый правитель Олег, о котором сама императрица изволила написать драму «Олег вещий», и великий преобразователь Петр, о котором даже Вольтер написал целую книгу. Взяв это во внимание, не

* кавалером (франц.).

** дорогой кузен (франц.).

*** «Девственница» (имеется в виду поэма Вольтера «Орлеанская девственница»). — *Ред.*

покажется странным, что наши юноши окончили свое воспитание, никогда не бравши в руки ни одной русской книги, несмотря на то, что у княгини было собрание сочинений Сумарокова, «Россияда» Хераскова и «Камень веры» Стефана Яворского.

Княгиня сама повезла «детей» в гвардию и определила в один полк. Кряхтя, высылал Лев Степанович племяннику часть доходов с имения, объясняя всякий раз княгине, что имение покойного брата расстроено, доходов мало, урожай плохие и всходы больших надежд не подают.

Служба была тогда легкая. Изредка приходилось надеть мундир, в кои веки доставалось побывать в карауле; это даже нравилось как разнообразие. Остальное время, кроме родственных визитов, визитов к важным людям, обедни по воскресеньям в домовой церкви княгинина брата, было в полном распоряжении молодых людей. Князь бросился в светскую и разгульную жизнь со всем пылом юности, окрыленной богатством, беззаботный, от роду не останавливавшийся ни на чем и отроду ни на чем не останавливаемый, он был вспыльчив, дерзок, несколько раз проигрывался в карты, имел истории, и при всем этом был славный товарищ, благородный, открытый и даже по-своему гордый человек.

Столыгин был неразлучен с князем и играл довольно странную роль. Он участвовал во всех шалостях молодого человека, наводил его на такие, которые бы ему не пришли в голову, и потом почти всегда был ими недоволен. Он с каким-то снисхождением, даже с покровительством гулял на счет своего товарища, он, как будто нехотя и внутри порицая всё, что делалось, во всем брал долю. Столыгин так умел себя держать, что из всех историй выходил совершенно чистым, а между тем, в сущности, не только не отставал от товарищей, но был гораздо основательнее их испорчен; его разврат не бросался в глаза именно потому, что он был обдуманнее и хладнокровнее, нежели у увлекавшегося князя.

Князь верил в его дружбу, знал его превосходство и с детским простодушием прибегал во всяком трудном случае к Мише за советом. Полагаю, что Миша любил князя, но на том условии, чтоб тот никогда не забывал своей зависимости.

Князь был хорош собой и имел успехи у женщин, особенно у сангвинических девиц, у молодых вдов. Столыгин, бравший не столько красотой, сколько дерзкой речью, нескромностью желания и сладострастным взглядом, не мог простить своему другу его высокий рост и его красивые черты, и старался всякий раз затмить его остроумиями, умом, колкостями.

Поволочившись года три за женщинами всех слоев общества, от барских палат до швей и модисток, причем князь имел две-три драки, поигравши в азартные игры, в которые князь проиграл довольно большие суммы, для скрyтия которых от матери надавал двойных векселей; словом, поделавши всё, что называлось тогда службою в лейб-гвардии, молодым людям захотелось съездить в Париж. Столыгин подбил князя. Княгиня долго не соглашалась, но потом сама отпросила их в отпуск, и они отправились в Париж. Надзор за детьми был снова поручен Дрейяку, который успел в антракте образоваться еще двух русских помещиков греческой мифологией и французскою историей.

В Париже всё их поразило. Улицы кипели народом, там-сям стояли отдельные группы, что-то читая, что-то слушая; крик и песни, громкий разговор, грозные возгласы и движения — всё показывало ту лихорадочную возбужденность, ту удвоенную жизнь, то судорожное и страстное настроение, в котором был Париж того времени; казалось, у камней бил пульс, казалось в воздухе была примешана электрическая струя, наводившая беспокойство и злобу на душу, охоту борьбы, потрясений, страшных вопросов и отчаянных разрешений — всего, чем были полны писатели XVIII века, проповедники эгоизма, вызвавшие столько самоотвержения,

поборники отрицания, возбуждавшие фанатическую веру...* И всё это выговорилось, заявилось, выказалось, окружило путников прежде, нежели запыленный тяжелый дормез остановился у отеля в улице Сент-Оноре, прежде, нежели двое крепостных слуг успели отстегнуть пряжку у вожжей.

Дебют в Париже и Версале был чрезвычайно удачен, благодаря пуку рекомендательных писем, которые певалье де-Дрейяк славно осветил ослепительными лучами богатства, вести о котором он распустил с достоинством рельефностью, не останавливаясь, разумеется, на прозаической истине.

Михайло Степанович, напудренный и раздушенный, в шитом кафтане, с крошечной пшажкой, с подвязанными икрами, весь в кружевах и пепелках, сделался фрондером и чуть не опасным умом. Он толковал об *tiers-état* **, превозносил Неккера и пугал старых маркиз революцией. Его заметили. Несколько колкостей, удачно им сказанных, повторились.

— Знаете ли, что меня всего более удивляет в этом *marquis hyperboréen*? *** — сказал раз, сдавая карты, пожилой аббат с сухим и строгим лицом, — не столько его ум, — умом, слава богу, нас трудно удивить, — а его способность всё понимать и ни в чем не принимать истинного участия. Для него жизнь, кипящая возле, имеет тот же интерес, как весть о Сезострисе; это какой-то посторонний всему.

— Скиф в Афинах, — заметил кто-то.

— Совсем нет, — возразил аббат, — у скифа было бы что-нибудь свое, дикое, а он с виду и с речи похож на меня с вами. Признаюсь вам, я в состоянии ненавидеть такого человека; это болезненное произведение цивилизации, привитой к корню, не нуждавшемуся в ней.

— Помилуйте, из него выйдет отличный дипломат; он даже лицом похож на Кауница, — сказал какой-то посольский советник.

— В самом деле! — подхватили многие, и гиперборейский маркиз был забыт.

Путешествие князя и Столыгина окончилось гораздо прежде, нежели они предполагали: виною тому был Дрейяк. *Chevalier*, одобрительно и скромно улыбавшийся «успехам и торжеству разума над предрассудками», имел обыкновение, общее многим мыслителям, особенно тем, у которых пищеварение расстроено, прогуливаться, вставши с постели. Только что он вышел однажды на бульвары, как услышал за собой какой-то нестройный гул. Он остановился и, сделав из руки зонтик от света, начал всматриваться; сначала он увидел облако пыли, потом блеск пик, ружей, наконец вырезалась нестройная, пестрая масса людей. Дрейяк никак не мог догадаться, что это за люди, но ему недолго пришлось ломать головы; высокий, плечистый мужчина без сюртука, с засученными рукавами, с тяжелым железным ломом, повязанный красным платком, поровнявшись с ним, спросил его громовым голосом, пристально глядя ему в глаза: «Ты с нами?»

Дрейяк, бледный и трепещущий, не мог сообразить, какое может иметь последствие отказ, и потому медлил с ответом; но новый знакомец взял его за шиворот и, сообщив его телу движение, далекое от того, чтоб быть приятным, повторил вопрос. Шевалье, вместо ответа, уронил свою трость. Учтивая дама, случившаяся возле, подняла ее и, показывая более и более густевшей массе народа, заметила:

* Слова: проповедники эгоизма, вызвавшие столько самоотвержения, поборники отрицания, возбуждавшие фанатическую веру — не вошли ни в одно издание. — Ред.

** третьем сословии (франц.).

*** гиперборейском (северном) маркизе (франц.).

— Это аристократ и аккапарист *, посмотрите, какой набалдашник золотой да еще с камнем! На фонарь его!

— На фонарь, — сказали несколько голосов спокойным подтверждающим тоном, исполненным наивного убеждения, что действительно его необходимо повесить на фонарь, что это — просто аксиома.

— Помилуйте, — сказал Дрейяк, — да я с вами, разумеется с вами, как же не с вами!..

И остановившаяся кучка двинулась вперед, грозно и мрачно, принимая новые толпы из всех переулков и улиц и братаясь с ними.

Дрейяку удалось завернуть (под самым суетным предлогом) в переулок; вылучив там счастливую минуту, он дал стрелка и пришел домой более



СУНГУРОВ В ПЕРЕСЫЛЬНОЙ ИЗБЕ

Иллюстрация А. Шенка из французского издания «Былого и дум», 1860 г.

мертвый, нежели живой. Дома он лег в постель, велел налить какой-то тизаны ** и в первый раз признался, что дорого бы дал, если б был на величественных, но спокойных берегах Невы. Тизана помогла ему, он начал успокаиваться, но вдруг раздался залп ружейных выстрелов, — а там еще выстрелы вразбивку, пушка прогремела, и потом, будто, перестрелка ближе, слышался барабан, слышался какой-то дальний, но страшный гул, и опять проклятые выстрелы... Время от времени мимо окон бежали блузники, работники с криком: «A la Bastille! A la Bastille!» — «Grand Dieu! grand Dieu! ayez pitié de moi» ***, — повторял Дрейяк, забывши закон тяготения, и холодный пот выступал у него на лбу, когда он припоминал свое аристократическое значение; он даже с досадой запретил трактирному слуге себя звать *chevalier*. «Мы все люди, — говорил он ему, — все равны и отличаемя только добродетелями».

Михайло Степанович сам бегал смотреть, как осаждают Бастилью; Дрейяк был уверен, что его убьют, и уже несколько утешался в его отсутствии тем, что нашел славную турнюру ****, как известить об этом

* спекулянт (франц. «accapareur»).

** настойка из сухих трав (франц. «tisane»).

*** «К Бастилии! К Бастилии!» — «Господи, господи, сжался надо мной!» (франц.).

**** оборот речи (франц. «tourpüre»).

княгиню, когда возвратился Столыгин, ругая на чем свет стоит нелепую защиту и помирая от смеха при мысли, как удивятся его версальские приятели такой новости.

Дрейяк объявил, что дольше в Париже он не останется и, несмотря на все споры и просьбы, он, опираясь на полномочие княгини, отстоял свое мнение с мужеством, которое может дать один сильный страх. Делать было нечего — они возвратились. Столыгин начал в Петербурге продолжать прежнюю жизнь, как вдруг одно неожиданное обстоятельство изменило ее...

Князь влюбился в Париже в одну маленькую француженку; добрая от природы, она его не заставила долго страдать; жаль было князю ее покинуть, он предложил ей ехать в Петербург. Маленькая француженка согласилась с восхищением; она была сильно аристократических мнений, и ей что-то очень начинало не нравиться демократическое безденежье, распространявшееся в мире виконтов и маркизов.

Не успел князь уладить для нее квартиру в Петербурге, устроить мебель и украшения, как застал однажды Михаила Степановича в слишком огненном разговоре с нею. На этот раз князь не вынес, рассердился, начал говорить колкости. В другом случае Столыгин, может быть, и уступил бы, по крайней мере, своротил бы на шутку, но, по несчастию, он взглянул на прекрасные глаза француженки и увидел в них злую насмешку и ясный вопрос: «Как вы позволяете так с собой обходиться?» Взгляд этот сильно кольнул его, и он дал себе волю; ссора разгоралась более и более, князь, не помня себя, выбросил Столыгина за дверь и прокричал ему вслед, что он будет ждать его там-то и тогда-то.

Они дрались на шпагах. Дуэль кончилась ничем. Столыгин ранил князя в щеку. Это подражание цезаревым солдатам в Фарсальской битве вряд ли было случайно; оно ему не прошло даром: рану на щеке невозможно было скрыть. Княгиня узнала через людей о дуэли и приказала сказать Столыгину, чтобы он оставил ее дом.

Столыгин попытался объясниться с нею, она его не пустила к себе, он написал письмо, княгиня отослала его нераспечатанным. Делать было нечего, он переехал и тотчас написал нежное и мягкое послание к князю, в котором кудрявыми французскими фразами просил примириться, описывая свое несчастье, говорил, что он сам не хотел после горестного события оставаться дольше в их доме, но что он убит гневом женщины, которая была для него более нежели мать, которой он всем обязан, и прочее. Разумеется, князь на другой же день забыл обиду и уговаривал мать простить Михаила Степановича, слагая всю вину дуэли на себя, но переехать назад княгиня не позволила.

Итак, Столыгин явился в первый раз на собственных ногах; ему было лет под тридцать.

Как нарочно, у него не было денег. Он написал к дяде; в ожидании ответа жить было нечем; дорого стоило Михайлу Степановичу попросить займы у князя, он с неделю переламывал себя и, наконец, шуточно взял у него несколько сот рублей. Обстоятельство это сильно потрясло его. Оно навело его на ряд мыслей, доселе мало его занимавших. Живя на счет княгини, ему за глаза довольно было денег, присылаемых дядей, теперь было не то. Как он ни вертел, как ни считал, а более 4000 получить было невозможно; доход прекрасный для одинокого человека в то время, но Столыгин привык к жизни в барском доме, к огромным палатам, к толпе прислуги, к пышным экипажам, а всего более к тому, чтоб не знать, чего это стоит; теперь, порадовавшись, он себе показался жалким, несчастным, нищим. Он содрогнулся, уничтожился перед этой мыслью. На этот раз он страдал действительно, не был посторонний к делу, потому что страдал о себе. Он дни и ночи проводил в придумывании, как бы сделаться богаче; одна

надежда и была — смерть дяди, но старик был здоров, почерк его писем так оскорбительно тверд; делать было нечего, и Столыгин, скрепя сердце, глубоко оскорбленный и раздраженный, решился отказаться от прежней жизни. Он заморил в себе желания, он стал расчетлив, скуп, он сделался желт в лице, заперся в четырех стенах; словом, он так был утрачен мыслию о будущей нужде, что чуть не слез в постель, хотя еще ничего опасного не было в виду.

Дядя писал ему несколько раз, чтоб он или сам приехал, или прислал кого-нибудь в подмосковную, что ему и со своим имением управляться не под силу. Столыгин чувствовал, что сам мало смыслил в сельском хозяйстве и принялся искать управляющего. Месяца через три он получил письмо от Акулины Андреевны с одним морским офицером.

Надобно сказать, что у него с нею сношения были весьма редки; он вообще не любил, когда его спрашивали об матери; месяцев через шесть он писал ей несколько строк и посылал небольшие подарки, — тем и оканчивались его сношения с нею.

Из этого вы можете заключить, что он принял моряка чрезвычайно сухо. Мать его умоляла похлопотать о каком-то деле подателя письма, выхваляла его доблести и честность; Михайло Степанович обещал ему сделать всё, что может, и ничего не делал; но моряк привык выжидать погоды, он всякий день стал ходить к Михайлу Степановичу, наконец тот вышел из терпения и через княгиню обделал его дело.

— Чем вы намерены теперь заниматься? — спросил он его, перебивая длинное и скучное изъяснение благодарности.

— Искать частной службы по части управления имением.

Михайло Степанович посмотрел на него и внутренне признал в нем искомого человека.

Он не ошибся. Моряк, как нарочно, отчасти уцелел для благосостояния хозяйства Столыгина; он летал на воздух при взрыве какого-то судна под Чесмой, он был весь изранен, но несмотря на пристегнутый рукав вместо левой руки, на отсутствие уха и на подвязанную челюсть, — эта анатомическая редкость сохранила здоровье, неутомимую деятельность, непрерывно разлитую желчь и сморщившееся от худобы и злобы лицо. Он был исполнителен, честен, он никого бы не обманул, тем паче человека, которому он был обязан важной услугой; но многим именно эта честность и эта исполнительность показались бы хуже всякого плутовства.

Михайло Степанович предложил ему ехать осмотреть свои имения, он согласился с радостью, и с того дня у моряка не было другого закона, как воля Столыгина; он, как вольнонаемный бандит, не входил в вопрос, худо ли или хорошо ли делает, а исполнял с спокойной совестью и с величайшим рвением чужую волю. Человек этот был просто клад для Столыгина.

V

Столыгин ждал моряка с часу на час со всеми его проектами и планами, когда вместо него получил письмо Тита. Он его прочел раз пять. У него дух сперся в груди; бледный, как полотно, с кружением в голове, вышел он на улицу, чтоб несколько привести в порядок свои мысли... две тысячи пятьсот душ отлично устроенного имения, дом в Москве, да, вероятно, билеты... Рядом с этими утешительными надеждами, его душой овладело жестокое беспокойство, страшные опасения, нет ли каких особенных распоряжений, не давал ли старик векселей? Он немедленно поскакал в Москву. В Москве его ожидала новая весть, которой он не мог предполагать. Тит Трофимов и староста, приехавшие поклониться новому барину, сообщили ему о смерти Марфы Петровны.

— А что, есть завещание? — спросил Михайло Степанович.

— Письмо изволили оставить к вашей милости, — отвечал Тит.

— Где оно?

— У меня, батюшка, — отвечал Тит, вынимая из бокового кармана портфель, который в юности был красного цвета.

— Ты бы, дурак, с этого начал, — заметил Михайло Степанович, торопливо вырывая у него письмо.

Едва заметная улыбка пробежала у него по лицу при чтении; он видел ясно, что смерть таким сюрпризом подкосила стариков, что они не успели сделать никаких «глупых распоряжений».

— Кто же при доме в деревне остался? За коим чёртом оба приехали?

— Агафья Петровна, ключница, и покойной барыни дядюшка с супругою.

— Они-то первые и растащат всё. Да где же бумаги?

— Спальня запечатана вотчинной печатью и двое десятских караулят.

— Я собираюсь завтра в Липовку.

— Лошади, батюшка Михайло Степанович, дожидаются: моих тройка на вашем дворе да крестьянских из вашей вотчины еще две придут в Рогожскую, — отвечал староста.

— Хорошо. А теперь, эй, Тит, сейчас же с Ильей Антипычем принять здесь в доме всё и переписать.

Ильей Антипычем назывались остатки морского офицера, задержанные в Москве вестию о кончине Льва Степановича и супруги его.

На другой день барин и первый министр его отправились в подмосковную. Михаил Степанович наслаждался, упивался вводом во владение; мысль, что всё это его, его собственное, производила в нем какое-то особенно приятное волнение и в то же время беспокоила его.

На границе липовской земли ждали Михаила Степановича часть дворовых людей и депутация от крестьян с хлебом и солью. Староста и Тит Трофимов ехали впереди в телеге; они остановили дормез и доложили Михайлу Степановичу, что этот большой камень и эта большая яма означают *in basso* и *in taglio* * границу его владения; он вышел из кареты. Подданные повалились в ноги. Михайло Степанович указал Титу, чтоб он взял хлеб, и сказал крестьянам резким голосом, что благодарит их за хлеб, за соль, но надеется, что они усердие свое докажут на деле, что он любит порядок, что покойник-дядюшка по старости лет многое запустил, но что он примет их в руки.

— Есть ли на оброчных недоимка? — спросил он старосту.

— Есть небольшая, — отвечал староста.

— А ты чего смотришь, староста?.. А, вот, я тебя научу, что значит быть старостой! У меня, чтоб слова «недоимка» не было! Слышишь? Это просто ни на что не похоже. Какой оброк платят? — стыдно сказать. Я, чай, православные, вам перед соседями совестно так мало платить!

— Они легко могут платить еще по десяти рублей с тягла, — заметил моряк.

— Еще бы! Подмосковные мужики! Слышите, что ли?

— Как вашей милости взгодно будет, мы ваши, как изволите, батюшка, установить, наше крестьянское дело — исполнять, — отвечал староста, и с этим словом он поклонился в землю, и мужички опять повалились в ноги, благодаря, вероятно, за доброе намерение лишить их стыда так мало платить.

— Об этом я поговорю завтра, собери утром на барской двор стариков.

— Эки рожи какие! — продолжал Михайло Степанович, обращая приветствие к дворовым. — Откуда это покойник набрал их? Один Тит на человека похож. Это кто, вон, в засаленном нанковом сюртуке, направо?

* вдоль и поперек (итал.).

— Земской Василий Никитин, — отвечал староста, — то есть, он, батюшко, по ревизии записан Львом, да покойный дядюшка, взявши во двор, изволили Васильем назвать.

— Сюда вином от него пахнет, отек весь. Я пьяниц не люблю, у меня вы забудете дорогу к кабаку.

После этой речи он быстрыми шагами пошел по дороге с моряком, который шел возле без фуражки; староста и Тит шли несколько отступя, а за ними дворовые и крестьяне; дормез и телега ехали шагом. Никто почти ничего не говорил, на сердце у всех было тяжело, неловко. Когда они шли по селу, старики дряхлые, старухи выходили из изб и земно кланялись, дети с криком и плачем прятались за ворота, молодые бабы с ужасом выглядывали в окна... Одна собака, смелая и даже рассерженная процессией, выбежала с лаем на дорогу, но Тит и староста бросились на нее с таким остервенением, что она, поджавши хвост, пустилась во весь опор и успокоилась, только забившись под крышу последнего овина.

Так достигли господского дома. Тут дожидались священник с женою и с сотами (от пчелок своих), принесенными на поклон, причетники, слепой майор и молдаванка.

Михайло Степанович учтиво обошелся с ними со всеми, спросил майора о здоровье, спросил священника, всякий ли год крестьяне говеют и, наконец, попросивши его отслужить молебен с водосвящением, отправился в запечатанный кабинет и там, запершись на ключ, осмотрел с моряком все бумаги, нашел и ломбардные билеты и деньги в целости; говорят, что он нашел еще записку, в которой дядюшка изъявлял желание отпустить на волю дворовых, но он справедливо заметил моряку, что, стало быть, дядя раздумал, если сам не отпустил, и что, стало быть, отпустить их было бы противно желанию покойника, — сжег эту записку на свече.

На другой день Михайло Степанович возвестил майору и его супруге, что, свято исполняя волю покойной тетушки, поручившей ему не оставлять их, он им жалует 2000 рублей, причем и вручил им билет (единственный из всех, по которому проценты были взяты). С тем вместе объявил, что он сколько ни желал бы, но не может, по разным соображениям, оставить за ними комнаты, что он вообще советует им не оставаться в Липовке, ехать в Москву. «Кирилу Васильевичу часто, может быть, нужна медицинская помощь, ему непременно надобно жить в Москве. Я велю посылать вам, какие случатся, припасы и дрова». Молдаванка хотела, было, попросить Михайла Степановича дозволить им остаться хоть в людской избе, где была пустая каморка, но, встретив холодные глаза с рыжеватыми ресницами и улыбку Михайла Степановича, она не смела вымолвить ни слова и стала укладываться.

Осмотрев прочие имения и повелев слушать беспрекословно моряка, он уехал в Петербург.

Настали другие времена, военная служба стала труднее. Это трудно согласовалось с желаниями Михайла Степановича, непривычного нести какую бы то ни было обязанность; он вышел в отставку и опять уехал в чужие края.

Года через четыре он приехал в Москву, моряк подал ему отчеты. Другие проживаются в путешествии, Михайло Степанович нашел во всем приращение, и без того, чтобы он трудился, напротив, в то время, как он наслаждался жизнью туриста, и без особых жертв, — он очень мало давал моряку. Даже теперь, возвратившись из путешествия, он отделался золотыми нортоневскими часами, которые купил по случаю и о которых рассказал моряку, чтоб поднять их цену, что они принадлежали адмиралу Эльфингстону.

Михайло Степанович жил один-одинехонек в огромном и запустелом доме на Яузе. Что-то страшно угрюмое было в его существовании. Он

почти ни с кем не знался, редко выезжал, ничего не поправлял в доме, вылинявший штоф на стенах местами продрался, позолота давно почернела, старинная мебель, тяжелая и жесткая, стояла в какой-то неподвижности годы целые; печальные, дурно одетые, слуги приходили на цыпочках обтирать ее; богатство его не только не сняло с него его заботливую боязнь о состоянии, но развило болезненную подозрительность и скряжничество. Каждую неделю приезжал из Липовки моряк, и Михайло Степанович иногда оставлял его дня на два, под предлогом разных дел, а в сущности <чтоб> видеть живого человека; он целые вечера рассказывал ему о своих путешествиях, о своих встречах, жаловался на лишения, которым должен подвергаться в Москве, на глупость прислуги; моряк никогда не возражал, всему удивлялся, а всего более Михайлу Степановичу; такого-то собеседника и надобно было Столыгину.

Сначала ему пришла было мысль служить по дипломатической части: он чрезвычайно высоко ценил свои способности и хотел сразу занять какое-нибудь значительное место. Так как это было совершенно противно порядку нашей службы, основанной на летах и чинах, вместо которых он предлагал таланты, то, само собою разумеется, ему <это> не удалось.

Он съездил в Петербург и воротился в Москву, представляя себя жертвой страшных несправедливостей и интриг.

Что же он делал в Москве?— На это отвечать трудно. Любя старание, он, тем не менее, серьезно имением не занимался; иногда он врвался в управление моряка для того, чтобы показать свою власть или насладиться ею, распространял ужас и трепет, брил лбы, наказывал, драл во дворе, придирался к мелочам, обременял совершенно ненужными работами — там дорогу велит проложить, тут сарай перенести с места на место. Но большей частью он предоставлял моряку управление крестьянами. Несравненно более занимался он устройством дома и дворней; у него всё в воображении носился дом княгини, и он хотел достигнуть чего-то подобного, не тратя денег. Задача была невозможная; на каждом шагу он видел, что ему не удастся, бесился и вымещал это на несчастной дворне. Бедные слуги были совершенно потеряны, они не знали, как примениться к праву барина. Ни точность исполнения, ни величайшее раболепство, которое он любил больше всего, ни честность, ни трезвость не могли спасти от его гнева, который всегда сопровождался жестокими наказаниями. Его камердинер, молодой трезвый малый, повесился, двое лакеев бежали. Эти примеры не только не разбудили чего-либо вроде угрызения совести, но послужили поводом к новым преследованиям и гонениям.

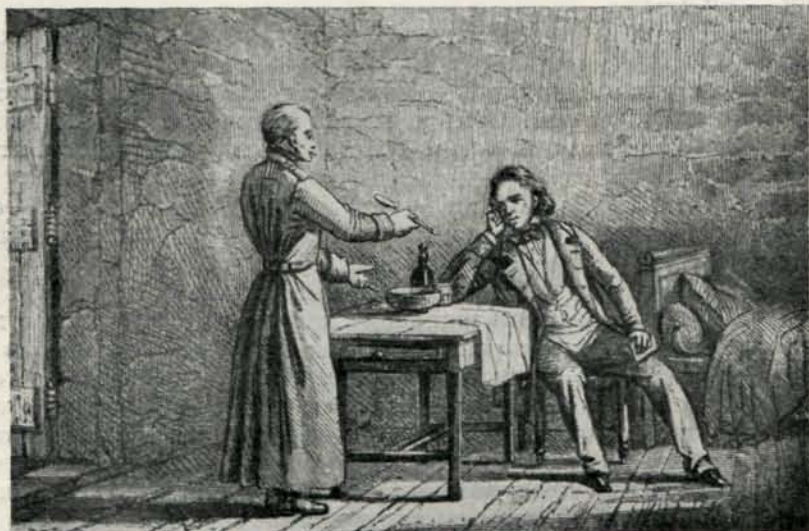
Одно рассеяние вне дома у него и было: почти всякий день ездил он к менялам, променивал старые вещи дяди, делал опыты надуть купцов и всякий раз был надут ими. Несмотря на свою скупость, он часто покупал вещи совершенно ненужные: какую-нибудь вазу, которую некуда было поставить, какой-нибудь разрозненный канделябр. Через месяц ему надо-едали они, он их опять променивал, брал китайские занавеси, персидское ружье, — две комнаты были завалены этими случайными покупками. Через менял Михайло Степанович помещал свои деньги за большие проценты, самому ему не хотелось выступить ростовщиком; по большей части антики и стертые картины в почернелых рамах только прикрывают сделки, несравненно выгоднейшие, нежели куртаж за безносого Адониса и за поддельные камни Пиклера, которые лежат лет пять-шесть на одном и том же месте в лавке.

Так шла жизнь Михайла Степановича и, вероятно, продлилась бы так лет сорок еще, если б он..., что вы думаете? — если б он не женился.

В Москве все женятся; но, конечно, в Москве с знаменитого кутежа, по случаю которого в первый раз упоминается о ней в летописи, и до торжественного празднования ее шестисотлетия, никогда не было человека,

менее способного к семейной жизни. Он сам это знал, всегда смеялся над брачными узами и, несмотря на это, женился, женился, как говорят в сказках, сколько волею, а вдвое того неволею.

У Столыгина завязался запутанный процесс с одним из кредиторов; он знал, что его дело не совсем чисто, а потому адресовался к известному тогда в Москве стряпчему, оставшему статскому советнику Валерьяну Андреевичу. Надобно же было, как нарочно, этому юсу иметь прехорошенькую и премолоденькую дочь. Михайло Степанович увидел ее и решился, во что бы то ни стало, добраться до нее. Он через Титову жену подкупил кухарку, начал дальние апроши * по Вобановой системе, а от них перешел к ближним. Простая, бесхитростная девушка, воспитанная



ГЕРЦЕН В КРУТИЦКИХ КАЗАРМАХ

Иллюстрация А. Шенка из французского издания «Былого и дум», 1860 г.

под суровым гнетом старика-отца, отроду не видавшая порядочного человека, не нашла в себе сил Саргоссы и сдалась. Близость их шла далее и далее и зашла даже так далеко, что Михайло Степанович начал с особенным биением сердца поглядывать на жену хлебника-немца, жившего недалеко от него.

Кухарка статского советника, помогавшая Михайлу Степановичу за беленькую бумажку и за золотые серьги, которые он обещал, долго не получая их, испугалась последствий, могущих быть из этой связи, и сделала донос отцу. Старик убедился разом в справедливости доноса и в том, что предупредить поздно, но поправить самое время.

Внутри он даже обрадовался неожиданному случаю, который уже растаял в его голове целым процессом, выигрышем, но он тщательно скрыл это и явился, как следует, раздраженным, карающим отцом. Сначала он разобрал бедную девушку, потом избил ее и оттащил за косу, потом запер в темную комнату на мезонине; словом, сделал всё, что требовала оскорбленная любовь родителя. Исполнив тяжелую обязанность, он снова сделался, чем был, стряпчим, юристом, и принялся за повальный обыск в комнате дочери. Нетрудно было найти то, чего он искал: пук

* подступы (франц. «approches»).

писем, перевязанных розовой ленточкой и хранившихся в красивом ларчике. Старик надел очки и внимательно прочитал все письма от доски до доски; казалось, что общий вывод из прочтенного доставил ему удовольствие. Он взял письма к себе и сел за стол сам писать, писал долго, перемарывал, дополнял, сокращал, наконец, был доволен редакцией, — переписал сам набело и, взяв свечу, отправился к дочери.

Бедная девушка, оскорбленная, испуганная, стыдящаяся, с опухшими глазами и синими пятнами на лице, задрожала всем телом, когда услышала шаги отца, и прижалась в угол, сама не зная зачем. Старик поставил свечу и грубым, жестким голосом сказал дочери:

— Что забила́сь туда? скромница какая! Небось, умела на свиданье бегать — страху не было, а от отца прячешься, поди сюда!.. Возьми перо и пиши — ну же!

И он диктовал: «Дочь статского советника Мария Валериановна Трегубская».

Девушка писала в лихорадке, в безумии, дрожа от страха и без малейшего сознания, что делает. Отец прочитал подпись, хотел идти. Марья Валерьяновна бросилась к ногам его и, рыдая, шептала: «Батюшка, простите меня, простите!»

— Хныкать теперь, срамница! — закричал почтенный старец, — скучно на заперти сидеть, не послать ли за любовником твоим? Седины мои опозорила!

И, оттолкнув ее, он с негодованием вышел вон.

На другой день Михайло Степанович получил весьма учтивое письмо от статского советника, который сообщал ему, что он поражен в самом сердце вестию о том, что Михайло Степанович, опутав коварными обещаниями, успел сделать на всю жизнь несчастною его дочь, лишил его и последней опоры и последнего утешения, что, наконец, положение жертвы его соблазна он находит сомнительным, а потому надеется на него, что он захочет, наверное, свой проступок покрыть божьим благословением через брак, коим возвратит ей честь, а себе спокойствие совести, которое превышает всех благ земных. Буде же (чего боже храни) Михайлу Степановичу это не угодно, то он с прискорбием должен будет сему делу дать гласность и просить защиты у недремлющего Закона и у высоких особ, богом поставленных невинному в защиту, а сильному в обуздание; в подкрепление же просьбы, сверх свидетельств домашних, он с душевным прискорбием приведет разные документы собственной Михайла Степановича рукою писанные. В заключение оскорбленный отец счел себя обязанным присовокупить, что преступная дочь его есть его единственная наследница как дома, что в Хамовнической части, так и капитала, имеющего ей достаться, когда господу-богу угодно будет прекратить грешные дни его.

В первую минуту досады Михайло Степанович написал дерзкое письмо к Трегубскому, оскорбленный смелостью предложить ему, Столыгину, жениться на дочери человека, который «вырос из чернильницы». Но потом — мы знаем, что он умел себя обуздывать там, где сила была не с его стороны — он одумался, изодрал написанное и написал письмо умеренное. Удивлялся, с чего могли придти Валерьяну Андреевичу такие мысли, просил его не торопиться и уверял, что всё это клевета, которую он рассеет, что это козни его врагов, распускающих об нем всякие слухи, завидуя его тихой и уединенной жизни.

Но Валерьян Андреевич был недаром лет сорок стряпчим, он видел, что Столыгин выигрывает время, что, следовательно, ему терять его не должно. Между разными делами, вверенными Трегубскому, у него на руках был огромный процесс о горных заводах одного графа, находившегося в большой силе. Он отправился к нему и вдруг, докладывая ему о течении процесса, подобрал нижнюю губу, опустил щеки, сделал пресмешное лицо

и начал капать слезами. Граф, разумеется, очень удивился и стал расспрашивать Валерьяна Андреевича: тот рассказал ему историю, показал письма и ответ, наконец, вручил просьбу дочери. Графу в самом деле стало жаль старика, он же был необходим ему по делу о заводах.

— Какой это Столыгин? Не тот ли, что воспитывался у княгини N?

— Тот самый.

— Я его видал давно, он всегда был на довольно дурном счету, у него еще была дуэль с сыном княгини и в Париже он с жакобин * был знаком. Это ему не пройдет даром, я тебя уверяю, оставь письмо дочери здесь и успокойся. Да, кстати, апелляционную записку по моему делу кончи поскорее. — Старик утешился.

Через несколько дней предводитель дворянства пригласил к себе Михаила Степановича, затворив двери кабинета, спросил его, как он намерен окончить неосторожный пассаж с девицей Трегубской, присовокупляя, что ему поручено посоветовать Михайлу Степановичу кончить это дело, как следует дворянину и христианину. Михайло Степанович пустился в ряд объяснений. Предводитель с большим вниманием выслушал его и, заметив, что всё это очень справедливо, прибавил, что, тем не менее, он уверен, что Михайло Степанович оправдает доверие и поступит, как христианин и дворянин, что, впрочем, он его просит дать себе труд прочесть одну бумагу.

Михайло Степанович прочел ее и, молча, бледный, как полотно, положил ее на стол.

— Не угодно ли вам будет, — спросил его предводитель, — теперь подписать вот эту? Позвольте, кажется это перо не хорошо, вот это гораздо лучше, — и он подал ему лучшее перо.

Думать надобно, что первая бумага была очень красноречива и убеждала вполне в необходимости подписать вторую, ибо Михайло Степанович, не говоря ни слова, взял перо и подписал. Предводитель сказал ему, прощаясь, что он истинно душевно рад, что дело кончилось так келейно и что он так прекрасно решился поправить свой поступок.

Через неделю Михайло Степанович был женат. Марья Валерьяновна сначала не имела понятия, как она сделалась женою Столыгина; она думала, что он попросил ее руки, чтоб спасти ее от преследования отца.

Разумеется, оскорбительная правда не могла не открыться впоследствии бедной женщине. Она без того кротко покорялась всем требованиям мужа, но, узнав о проделках отца, ей показалось, что она неправа, что она украла свое место, унизила собою Столыгина, и, не зная, чем вознаградить его, совершенно отдалась во власть мужа, сделалась его рабой. Это развило еще более притеснительное властолюбие Михайла Степановича; он не только воспользовался ее жертвой, никогда не подумавши о том, чего она стоит этому существу, доброду, полному преданности и любви, но становился всё требовательнее. В положении Марьи Валерьяновны было что-то неловкое; перейдя из затворничества, в котором ее держал старый писарь, в затворничество чужого дома, в котором не было в ней нужды, в котором не было ей дела, в котором ничего не переменилось от ее появления, — ей трудно было найтись. Михайло Степанович требовал, чтоб Марья Валерьяновна занималась хозяйством, осыпал ее упреками, как она в доме отца даже не научилась домашней экономии, — и сам мешался во все мелочи и приказывал слушаться одного себя. Он не давал ей денег, сердился за каждый рубль и требовал, чтоб она хорошо одевалась, говоря, что всё это зависит от ловкости, вкуса и умения, а не от денег. У ней не было ни одной знакомой; Столыгин запретил жене принимать каких-то родственников, раза два явившихся позавидовать ее счастью; она со своей стороны сама не хотела делить досуги с племянницей моряка, которую,

* якобинцами (франц. «jacobins»).

кажется, Михайло Степанович хотел ввести по части супружеской тайной полиции. Знакомых у Столыгина было очень мало, из них двух-трех он представил жене, другие знали только по слуху, что он женат. Изредка Михайло Степанович предлагал жене проехаться в карете и думал, что этих прогулок совершенно достаточно для увеселения молодой женщины.

Молодая женщина эта, впрочем, мало горевала о рассеяниях, которых никогда не знала, но она никак не могла равнодушно выносить непрерывного негодования мужа; она, по женской манере рассуждать, считала его глубоко несчастным, тогда как он был только глубоко капризен; он оскорблял раздражительной избалованностью своею все стороны ее женского сердца, а она винила себя, что не умеет сделать его счастливым. Марья Валерьяновна бывала целые дни на верху блаженства, когда Михайло Степанович скажет ласковое слово, обойдется с ней по-человечески, подарит какую-нибудь вещьцу, вымененную на какую-нибудь ненужность; но редко бывали эти дни. И не думайте, чтоб он гнал свою жену по злобе, по чувству мести и воспоминанию о свидании с предводителем. Нет, сначала, правда, он будировал ее, но впоследствии остался только при постоянной ненависти к старику-отцу. Поведение его не имело другого начала как в распущенной строптивости, в отсутствии всяких чувств, кроме ревнивого себялюбия. Он хотел как-то незаслуженно и насильственно срывать даже и те плоды жизни, которые достаются только наградой или последствием истинных чувств; он требовал внимания, преданности, не поступаясь ни малейшим капризом, не отдаваясь нисколько. Он убивал холодной неприступностью, отталкивающей беспощадностью всякое нежное проявление — и жаловался, скорбел, что не находил их бол(е)е. Притесняя всё вокруг, он себя всегда и во всем представлял жертвой и несчастным. Может, дерзость его эгоизма нигде не выражалась так ярко, как в этих жалобах, в истине которых он долею был убежден. Когда у этого человека не было решительно никакого предлога жаловаться на ближних, он жаловался на аневризм, которого, впрочем, повидимому, у него не было.

Через несколько месяцев родился у нашей четы сын. Ребенок был разительно похож на отца. Это сходство привело в восторг Столыгина; он до того расхотелся в первые минуты радости, что с благосклонной улыбкой спрашивал Тита: «Ты видел маленького?», и когда Тит отвечал, что не сподобился еще счастья, Михайло Степанович велел кормилице показать маленького барина Титу. Тит подошел к ножке новорожденного и со слезами умиления три раза повторил: «Настоящий папенька, вылитый папенька, папенькин патреть».

Михайло Степанович отдал тут же Титу приказ, чтобы люди не смели садиться, когда кормилица с ребенком в комнате, а кормилице разрешил сидеть даже в своем присутствии, чего, впрочем, она никогда не делала, повинуясь инструкции моряка. Кормилица была из Липовки. За две недели до родов Марья Валерьяновна приказал Михайло Степанович моряку выслать для выбора двух-трех очень здоровых и недавно родивших баб с их детьми. Моряк выслал шесть, и мера эта оказалась вовсе не излишней; от сильного мороза и слабых тулупов две лучшие кормилицы, отправленные на пятый день после родов, простудились и так основательно, что потом сколько их старуха-птичица ни окуривала колганом и сабуром *, все-таки водяная сделалась; да у третьей на дороге с ребенком родимчик приключился, вероятно, от дурного глаза и, несмотря на чистый воздух и все удобства для больных детей в санной езде, он умер, не доезжая до Репиловки, где обыкновенно липовские кормили. Так как у матери молоко поднялось от этого в голову, то она оказалась неспособ-

* Колган и сабур — лечебные травы. — Ред.

ной кормить грудью. Остались три, как Михайло Степанович приказывал. Из них он сам с повивальной бабкой избрал женщину, действительно замечательную; замечательную, во-первых, потому, что, будучи второй год замужем, она не утратила ни красоты, ни здоровья и была то, что называется кровь с молоком, я даже сказал бы: со сливками. На организм, который не только безнаказанно, но так торжественно вынес бедность, работу, отца, мать, жнитво, мужа, двух снох, старосту, свекровь и барщину, — можно было смело положиться.

К тому же Михайло Степанович велел ей производить ежедневно следку и бутылку пива. При помощи таких средств, без работы, защищаемая вначале довольно успешно «от барского гнева и от барской любви» Марьей Валерьяновной, кормилица в два месяца стала вдвое толще и румянее, так что свекровь, приходившая иногда из деревни, не могла без ненависти видеть ее, каждый раз бормотала, выходя из ворот: «Вишь, разтелась на барских чаях-то, дай-ка воротиться домой, я спущу с нее жир в неделю». Говорят даже, что почтенная старушка добросовестно сдержала обещание.

Марья Валерьяновна радовалась от всей души, видя, что муж ее любит ребенка; его раздражительной заботливости, капризной мнительности не было границ. Эта любовь была у Столыгина какою-то болезнью, лихорадкой; минутами он даже бывал нежен с малюткой, так много протерпелый прячется в груди человеческой. Но и эта любовь не могла исправить Столыгина: он слишком сложился.

Для дворни малютка сделался новым источником гонений и несчастий. Малейший шорох, стук во время его сна, открытое окно, сквозной ветер, отворенная дверь — всё это выводило из себя Столыгина. Что вынесла бедная няня — та самая Настасья, которая послужила невольной причиной смерти Льва Степановича, — мудрено себе представить; надобно было непременно железное здоровье и вечно несовершеннолетний нрав, удовлетворяющийся болтовней и ворчаньем, чтоб выдержать десять первых лет жизни Анатоля. Михайло Степанович часто приходил ночью в детскую. Кормилице дозволил он иногда спать, Настасье никогда; она раздевалась только в бане, — два раза в месяц — и подите, исследуйте тайны сердца! Настасья любила до безумия ребенка, существованием которого отравлялась вся ее жизнь, за которого она вынесла столько физических страданий и физической боли. Марья Валерьяновна, сколько могла, вознаграждала ее и лаской, и подарками, но сама чувствовала, какую бедную замену она ей дает за лишение всякого покоя, за вечный страх, и, наконец, за синие пятна на лице и теле. Настасье было приказано, чтоб летом не было мух в детской, и горе ей, если Михайло Степанович находил муху; Настасья отвечала за то, если малютка, начиная ходить, падал; она отвечала за царапину на его руке, за насморк, который происходил от прорезывания зубов, за его плач и крик... Не только чувство сострадания никогда не пробуждалось в душе Михайла Степановича, но даже в нем не было терпения рассудить о том, что няня не могла ни предупредить, ни отвратить чего-нибудь, — ему казалось легче обрушивать на нее свой гнев, это же состояло в его воле.

Пока ребенок был совершенно глуп, нечто вроде зверька, баловству со стороны Михайла Степановича не было пределов; долго это не могло так оставаться. Михайло Степанович был человек, не способный выносить что бы то ни было, одаренное волею; чем больше развивался Анатоль, тем больше он начинал «мешать ему», как отец выражался, и любовь его переходила, мало-помалу, в жестокое преследование, которое он называл воспитанием. Он продолжал его баловать, но вдруг за какой-нибудь вздор, за какое-нибудь невинное, детское проявление характера, силы, воли, Столыгин с жестокостью нападал на ребенка. Ребенок, со своей стороны,

не приученный к послушанию, капризничал и раздражал безумное желание сломать в нем всякое свободное движение. Михайло Степанович таскал его за волосы, кричал на него диким голосом, ставил на колени, — у нервного ребенка делались судороги, обмороки.

Мать, уступавшая во всем, не могла уступить в этом; ребенок делался свидетелем страшных сцен. Иногда Михайло Степанович выгонял их обоих вон с угрозами и ругательствами; Анатолий, посиневший от страха, судорожно хватался за платье матери и прятался за нее, потом ночью вздрагивал и, проснувшись, шопотом спрашивал у няни: «Папаша ушел? Папаша нет?»

Марья Валерьяновна, при всем кротком самоотвержении своем, стала уважать в себе мать Анатолия, в ней явилась удивительная твердость; после любви ничто так не развивает женщину, как воспитание детей. Эту оппозицию тотчас заметил Михайло Степанович, — он удвоил свои преследования.

Однажды после обеда сидела Марья Валерьяновна, грустная и печальная, в гостиной, возле нее играл Анатолий, у дверей стояла Настасья, Михайло Степанович ходил по комнате, взбешенный и угрюмый.

— Здорова ли ты? — спросил он, насмешливо улыбаясь, жену.

— Здорова, — отвечала она чрезвычайно сухо.

— Слава богу, а то у тебя такой вид, что можно подумать или что ты больна или что какое-нибудь несчастье случилось с тобою.

Это был вызов на ссору. Марья Валерьяновна не отвечала.

— Вам, кажется, не угодно разговаривать?! — заметил, низко кланяясь, Михайло Степанович, — извините, — и стал опять ходить.

В гостиной стояла горка, на которой была расставлена всякая всячина, купленная им у меня. Анатолий, тысячу раз игравший этими вещами, подошел к горке и взял какую-то фарфоровую куклу.

— Не тронь! — закричал отец.

Анатолий посмотрел с испугом на отца, отошел и через минуту опять подошел к горке.

Этого было довольно для Михайла Степановича. Он подошел к нему, схватил за руку и отдернул его с такой силой, что ребенок грянулся об пол; кровь полилась у него из носа, мать и няня бросились к нему.

— Оставьте его, это вздор, капризы! — закричал отец.

Нянька приостановилась в недоумении, но мать, не обращая никакого внимания на слова мужа, подняла ребенка.

— Пойдем, — говорила она ему, — в детскую, папаша болен.

— Да ты слышала или нет, что я сказал? — спросил Михайло Степанович, — оставь его!

— Ни под каким видом, — отвечала мать, — как можно оставить ребенка с человеком в припадке безумия!..

Михайло Степанович еще никогда не слышал ни от кого ничего подобного; у него глаза засверкали.

— Это что значит? — спросил он дрожащим голосом.

— То, — отвечала жена, — что есть же всему мера, пора положить предел вашему безумию, и если вы в самом деле сумасшедший...

Михайло Степанович не дал ей кончить, он ее ударил.

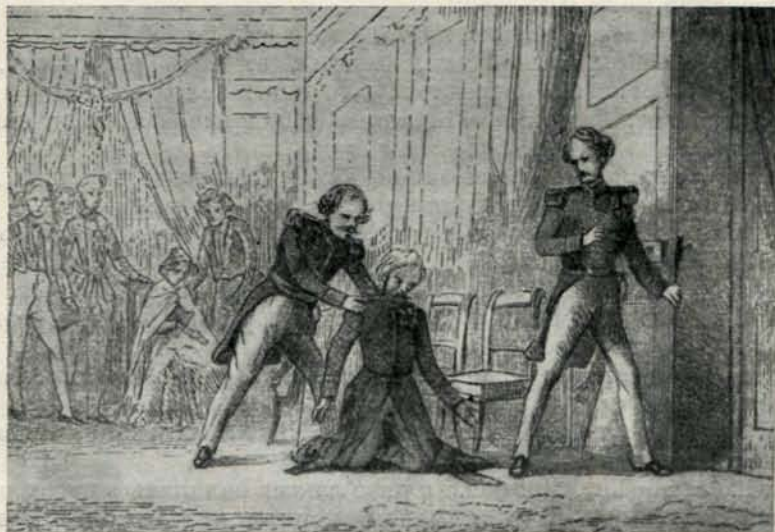
Она вышла, он не смел идти за ней

Пришедши в спальню, она стала молиться перед образом, потом велела Анатолию приложиться, одела его, накинула на себя шаль, выслала Настасью за чем-то, удалила другую горничную, и, почти никем не замеченная, вышла из ворот. На дворе смеркалось; она никогда не выходила вечером на улицу, ей было страшно и жутко. По счастью, вскоре извозчик, ехавший без седока, предложил ей свои услуги; она кое-как уселась, взяла на колени Анатолия и отправилась к отцу в дом. Выходя из саней,

она сунула извозчику в руки целковый и хотела взойти в ворота, но извозчик остановил ее. Он думал, что она дала ему пятак, и сказал: «Нет, барыня, постой! как можно?..» — и, разглядев, что это не пятак, а целковый, продолжал тем же тоном и нисколько не потерявшись: «Как можно целковый взять? С двоих, матушка, надобно синенькую!..»

Она бросила еще что-то извозчику и вошла в ту несчастную калитку, из-за которой пять или шесть лет тому назад она вышла на первое свидание с человеком, которого судьба избрала на то, чтоб мучить ее целую жизнь.

Когда Михайло Степанович, который заперся у себя в кабинете, пришел в себя, он понял, что переступил несколько границы. «Ну да что же



В ПРИЕМНОЙ БЕНКЕНДОРФА

Иллюстрация А. Шенка из французского издания «Былого и дум», 1860 г.

делать? — подумал он, — у меня нрав такой, пора в самом деле привыкнуть; сердит меня как нарочно — наконец, *elle devient impertinente* * Я у себя в доме последний человек, не могу ничего по своей воле делать, не могу воспитывать моего сына по моим идеям. Излишняя снисходительность всегда так оканчивается... Утешив себя такими рассуждениями, он отправился в гостиную. Однако на лице его было видно, что, как ни убедительны они были, но совесть не совсем была спокойна. Большая гостиная была пуста и мрачна, две сальные свечи горели на столе. Он посидел на диване, пусто, не хорошо.

— Сенька!.. — закричал он.

Мальчик лет двенадцати, стоявший у дверей в изодранных сапогах и в толстом казакине, вошел.

— Что ты не снимаешь со свечей? Дурак.

Казачок принес щипцы, снял и хотел идти.

— Постой! Куда побежал? Поправь, дурак, светильню, так и оставил набок!..

Казачок поправил светильню.

— Эй! Скажи Настьке, чтоб привела Анатолия Михайловича.

* она становится дерзкой (франц.).

Казачок вышел, но долго не возвращался. Слышны были голоса, шопот, беготня. Тит, бледный, как смерть, стоял в дверях; Настасья объясняла ему что-то вполголоса.

Через несколько минут казачок взошел с докладом:

— Анатолия Михайловича нет дома, с барыней изволили пойти.

— Что-о-о?!!

Казачок повторил.

— Что ты врешь?.. Пошли Настьку и старого дурака Тита.

Взошла старуха, дрожа всем телом.

— Куда барыня пошла?

— Не могу доложить, — отвечала старуха, — меня изволила послать за водой, изволили шаль желтую надеть, я думала, что так, от холоду, — а оне изволили...

— Молчи и отвечай только на то, что я спрашиваю!

— Ты что, старый разбойник, смотрел, а, Тит Трофимович, домоправитель?! Покорнейше благодарю! Кто пошел за барыней?

— Я, виноват, батюшка, Михайло Степанович, не видал, как изволили пойти...

Михайло Степанович передразнил Тита: «Виноват, батюшка...» Ну спросите, Тит Трофимович, Ефимку!

Тит побежал к Ефимке и воротился с ответом, что барыня изволила одна выйти из ворот направо.

Бешенство Михайло Степановича достигло высшей степени.

— Позови Куську, Оську да и дурака Ефимку в гардеробную да чтоб взошли двое кучеров.

— Нет, конечно! — прибавил он слабым прерывающимся голосом, — аминь, больше не стану терпеть от этих беспорядков...

Люди переглянулись с ужасом друг на друга; все знали, что значило приглашение кучеров.

В тот же вечер Тит, Настасья и двое лакеев валялись в ногах у Марьи Валерьяновны, утирая слезы и умоляя ее спасти их. Михайло Степанович велел им привести барыню с сыном или готовиться завтра в смиренный дом. Седой и толстый Тит ревел, как ребенок, приговаривая:

— Сгубит он нас, матушка, со света божьего стонит!

— Матушка Марья Валерьяновна, — говорила Настасья, — спаси ты нас, заступница наша! Или уж оставь меня здесь; что с нами будет, если воротимся без тебя?

— Я домой не дойду, — прибавил старик, — с Каменного моста брошусь, один конец!

Анатолий, обрадованный сначала, что увидел знакомые лица и разогорченный потом их плачем, тоже принялся плакать и просить.

Марья Валерьяновна долго молчала, видно было, что сердце у нее разрывалось; наконец, она встала и сказала грустным голосом:

— Так и быть, я еду, но бог свидетель, что я это делаю только для вас.

Карета ждала внизу. Она всю дорогу проплакала, но к Михайлу Степановичу явилась не как виновная и беглая жена, а с полным сознанием его неправоты; она ему сказала, что после нанесенного ей оскорбления она решительно хотела бросить его дом и возвратилась теперь для того, чтоб спасти совершенно невинных людей от его бешенства.

— Ох! — говорил Михайло Степанович, перепугавшийся и притворившийся больным, — ох, та chère *, зачем это ты употребляешь такие слова? Мое ухо не привыкло к таким выражениям. Все эти праздные мерзавцы слышат и оттого меня в грош не ставят. Ах, голубушка, у меня от

* моя дорогая (франц.).

заботы и болезни бывают иногда такие черные мысли, ну я могу и забыться, надобно кротостью, добрым словом остановить, посоветовать, а не раздражать нарочно; я сам оплакиваю несчастный случай этот, но как в голову может придти оставить дом, больного мужа, взять моего сына? Ах, страшно вздумать! притом вечером, я боюсь всего, думаю: и простудитесь, и задавят... Ох, если б вы знали, сколько я на сердце ношу, многое бы простили мне! Поди сюда, Анатолий, тебя хотели взять у меня!.. — И он показывал, будто, задавленный сильным чувством, не может говорить.

После этой истории Михайло Степанович стал себя попристойнее держать, посдерживаться, но оскорбление, но смелость жены он не забыл; он стал еще капризнее и привязчивее. Он не таскал более за волосы Анатолия, но в минуты гнева осыпал его ругательствами и отравлял методически каждый шаг ребенка. Решительный переворот скучным и тяжелым отношениям супругов положил Наполеон.

В 1812 году Михайло Степанович отправил жену в деревню, а сам поехал в Петербург. Все были заняты тогда войною. Несчастливая година была, с тем вместе, торжественной годиной; Русь, разбуженная пальбой и московским пожаром, проснулась; люди, жившие целый век в лени и бездействии, отращивали усы и шли в милицию, отставные просили место в рядах войска, слуги повязывали старые сабли, и загорелая рука крестьянина оставляла соху и чистила суконкой какую-нибудь старую фузею, промышляя боевой патрон на сопостата. На Михайла Степановича это действовало не более взятия Бастилии. Он так занят был собой, одним собой, своими делами, что и не подумал о службе; сверх того и аневризм не позволял ему подвергнуться трудам и лишениям бивачной жизни. В Петербурге он купил за полцены с аукциона дом на Литейной и зимой выписал туда жену с Анатолем. Сам же отправился поправлять сгоревший дом.

Прошло года два, но поправка, повидимому, не приходила к концу; он каждый месяц писал жене, говорил о своем желании их видеть в Москве, прибавляя разные лобезности Анатолию, и во всяком письме надеялся, что работы скоро окончатся. Между тем, на половине Марьи Валерьяновны жила уже француженка, которая, как он сам писал к жене, читает ему книги:

«Глаза у меня слабеют, читать почти не могу, и в этом одиночестве всё такие мрачные фантазии приходят об вас. Надобно чем-нибудь развлекаться. Нашел дитя, сиротка-француженка, прекрасно читает. Истинное счастье! Я дал ей кусок хлеба и уголок. Такая скромная и не скучная, всякой вздор читает больному старику».

Через год скромное дитя, должно быть, всё прочла, ибо съехала от Михайла Степановича, бросивши ему в лицо том записок герцога Сен-Симона, оставивший продолжительное, хотя и внешнее впечатление на Михайле Степановиче.

Страшая беспрерывно приездом в Петербург, Михайло Степанович внутренне был очень доволен, что разъехался с женою, хотя иногда ему и бывало скучно по Анатолию. Он долго бы не собрался в путь, если б его не подвинула к тому смерть доброго Валерьяна Андреевича.

Старик оставался в 1812 году в Москве, довольно счастливо скупил в это время множество золотых и серебряных вещей, долею у французов, долею у казаков; после неприятеля он подавал просьбу о денежном вспоможении на поправление дома, сожженного богопротивным врагом во время нашествия галлов и с ними дванадесяти язык. Помощи этой он (к истинному удивлению) не получил. Это его так сильно огорчило, что он помаячил еще года три да и умер, оставив Марье Валерьяновне дом, золотые и серебряные вещи и сто тысяч билетами.

Михайло Степанович по справедливости считал эти билеты своими. Золотые и серебряные вещи он уже в день похорон старика перевез к себе и писал об этом: «разные безделицы en orfèvrerie *, оставшиеся от твоего родителя, я поставил до твоего приезда у себя, вроде игрушек для развлечения и занятия в разлуке».

Марья Валерьяновна промолчала о вещах, но билеты потребовала к себе. Последнее время Столыгин так мало высылал денег в Петербург, что об воспитании Анатоля нечего было и думать. Марья Валерьяновна решила отцовское наследство употребить на ученье сына. Это ее окончательно поссорило с мужем.

Прикидываясь больным и огорченным и несмотря на аневризм, для которого дорога очень вредна, Столыгин поехал в Петербург. Там он представлял Марье Валерьяновне, как безнравственно и грешно делить имение мужа и жены, говорил, что он ничего в гроб не возьмет, что всё оставит Анатолю, что берет эти деньги для того, чтоб спасти от нелепого употребления. Несмотря на это красноречие, Марья Валерьяновна оставила билеты у себя.

Тогда он нанес бедной женщине самый сильный удар. Он объявил ей, чтоб она готовилась ехать в Москву, куда он едет завтра и берет с собой сына, что пока в его доме ей места нет, но что она может несколько дней пожить в старом доме отца.

В Москве он рассказывал, что спас Анатоля от этой несчастной женщины, «которой характер до того эгрирован**, что она просто погубила бы ребенка». Разумеется, ему никто не верил, кроме моряка, который еще здравствовал в Липовке, да и тот более верил из дисциплины и подчиненности, нежели из убеждения; он защищал Михайла Степановича, впрочем, следующим выразительным аргументом: «Всё же, ведь, как там угодно, а она жена Михайла Степановича, а Михайло Степанович, как бы то ни было, ее муж».

Спустя недели три поехала Марья Валерьяновна в Москву и остановилась в своем доме в Хамовниках.

Когда Тит вечером доложил Михайлу Степановичу о приезде барыни, Михайло Степанович приказал ему утром сходить к ней и спросить ее о здоровье и как-де с дороги себя чувствуют, а о себе, мол, велел доложить, что со всяким днем разрушаюсь, мол, от несчетных болезней, забот и горестей.

— Да у нее людишки мерзкие, так ты скажи Ефимке, чтоб на двор ко мне никого не пускал! Слышишь?! — прибавил разрушающийся старец таким голосом, что Тит кашлянул и переступил с ноги на ногу, прежде нежели сказал густым голосом: — Слушаюсь!

На другой день Михайло Степанович учредил кордонную линию около Анатоля. Марья Валерьяновна написала ему письмо, в котором говорила ему, что если он ее не хочет видеть, пусть отпустит сына к ней. Он находил ее просьбу справедливой, но писал, что Анатолю несколько простужен.

Анатолю со слезами просился у него к матери; он хвалил его за это и прибавлял, что пустит после, что она женщина слабая, нервная, что ей с дороги надобно отдохнуть... «il faut la ménager» ***.

Так прошло дней пять: Марья Валерьяновна не вытерпела и увиделась, как знаем, с сыном, у Настасьи в каморке...

P. S. Вместо продолжения, помещаем письмо г. Г<ерцена> к переводчику ****.

* из золота и серебра (франц.).

** испорчен (франц. «aigri»).

*** надо побережь ее (франц.).

**** Внизу страницы рукой Герцена: Hier kommt d<er> Brief d<en> ich nach einer Woche schicken werde<Здесь следует письмо, которое я пришлю через неделю (нем.).>

ПИСЬМО АВТОРА К г. ВОЛЬФЗОНУ;

(вместо продолжения повести «Долг прежде всего»)

Исполняя ваше желание, посылаю вам первую часть моей повести «Долг прежде всего»; кончить ее не могу; нет больше ни того настроения, ни того юмора, в котором она была начата. События далеко раздвинули 1847 и 1851 года; перебросить нить повести через них и снова поймать, мне кажется невозможным.

Я посылал эту часть в начале 1848 года в Петербург, но цензура ее не пропустила. Отчего? Я не понимаю; вероятно, и вы не поймете.

Тогда именно начиналась в России та поэтическая эпоха цензуры, которая ныне расцвела так пышно и роскошно. Сверх гражданской цензуры была тогда учреждена другая, *военная*; она разбирала те же книги, но книги и ценсоров вместе; она была составлена из генерал-адъютантов, генерал-лейтенантов, генерал-интендантов, начальников штаба, артиллеристов, инженеров, плац-майоров, одного татарского князя и двух православных монахов.

Эта высшая судная цензура, руководствуясь воинским регламентом Петра I-го и Номоканоном, очень справедливо запретила печатать что бы то ни было, писанное мною, хотя бы то было слово о пользе тайной полиции и явного самодержавия или переписка с друзьями о выгодах крепостного состояния, телесных наказаний и рекрутских наборов.

Я, с своей стороны, благодарен марциальным* ценсур-генералам за эту справедливую меру; она напомнила мне, что русским пора писать и печатать в Европе, что нам нечего сказать такого, чего бы могла пропустить осадная цензура.

Сколько было моих сил, я старался оправдать доверие ценсурного штаба и напечатать те брошюры, которые вы знаете.

Не имея духа продолжать повесть, которой *avorton* ** вам посылаю, я расскажу, что помню и как помню из ее плана.

План этот я был намерен исказить, урезать, затемнить настолько, насколько Каудинские фурукулы*** прежней русской цензуры этого требовали. Само собою разумеется, что я, писавши к вам, снял все эти китайские башмаки и отечественные колодки.

Мне хотелось в маленьком Анатоле, едва вяляющемся на сцене, но который должен был сделаться героем рассказа, представить человека, полного сил, энергии, благородства, готовности на деятельность, которого жизнь пуста, тягостна, безотраднa, оттого что он постоянно в борьбе с *долгом*. Человек этот усиливается и успевает мирить свою мятежную волю с тем, что он принимает за долг, и вся его сила утрачивается на эту борьбу. Он совершает героические акты самоотвержения, тушит страсти, жертвует влечениями и всем этим достигает того равнодушно-косного состояния, в котором находится всякий встречный, всякая вялая натура, словом, он весь идет на борьбу с собою за долг.

Вы видите в отрывке Анатоля уже втянутого в то столкновение, в котором он должен нравственно сломаться и погибнуть. Перед ним, в страшной нелепости, является родительская власть и *долг* сына. Его чистая, отроческая натура гнушается старым эгоистом, возмущается против его отношений к матери, но чувство обязанности говорит, что это безнравственное существо — его отец, что он должен его любить и уважать. И он старается заглушить верный голос сердца, затемнить юное чувство справедливости и негодования, и он натягивает покорность и оправдание отцу.

* военным (от франц.: «martial»).

** недоносок (франц.).

*** теснины (лат.).

Лет двенадцати Анатолий, бледное, заморенное растение, не по летам развитое и печальное, встречается с бедной девушкой, наивной, чистой, романтической, как все девушки в 16 лет. Девушка эта жила последнее время у его матери; на похоронах ее он ближе познакомился с нею и полюбил ее. Одна она непритворно грустила о Марье Валерьяновне; Анатолий хоронил с матерью всё, что у него было теплого, симпатичного на свете.

Старик Столыгин узнал о любви сына, и новый ряд преследований обрушился на голову юноши. Как все люди, состарившиеся в разврате, он не понимал робкой девственной любви сына и старался, сам не зная зачем, грязнить его чувство оскорбительными и грубыми выражениями. Начались страшные сцены. Мысли самоубийства бродили в голове юноши. Одно облегчение, одна отрада и была для Анатолия, — он убежал, когда мог, из острога — родительского дома, где всё дышало тяжелым рабством и старческим капризным гнетом, к Оленьке. Она делила его печаль, она плакала с ним, она утирала его слезы, и он привязывался к ней более и более.

Так прошли четыре длинных года. Наконец, Столыгин, к неописанной радости дворовых, умер.

Анатолий, как Онегин:

Ярем он барщины старинной
Оброком легким заменил.
Мужик судьбу благословил.

А семидесятипятилетний моряк скончался от этого «дебосша», как он выражался. Грустно качая головою, повторял он еще перед смертью: «Библейское общество!.. всё это библейское общество!..»

Около года Анатолий был совершенно поглощен уничтожением всего, что завел его отец и моряк с 1796 года. Он много переменялся в этот год; богатая натура его расправила свои крылья на воле. Но он не повеселел, напротив, подчас казалось, что он был печальнее прежнего.

Анатолий начинал чувствовать усталость от своей любви; ему было тесно с Оленькой, ее вечный детский лепет утомлял его, ее мечтаний он не мог больше разделять.

Горе тому чувству, которое знает свой предел; бесконечная даль так же нужна любви и дружбе, как изящному виду. Анатолий пробовал привести Оленьку к одному уровню с собою; существо милое, но не глубокое и не развивающееся, она не могла идти с ним рука в руку. Она охотно жадно слушала его, но оставляла на полдороге. Анатолий мучался и с ужасом ловил себя на радости, когда он мог под каким-нибудь предлогом скорее уйти от Оленьки, к которой с таким упоением он бегал украдкой от отца.

Заметила перемену в нем и бедная девушка; ей становилось страшно, сердце замирало, она искала вины своей, не находила, и часто слезы ее лились по канве, на которой она вышивала для Анатолия бедуина верхом, в белом бурнuse, с огромными стремянами. Всё это долго бродило бы по душе молодых людей, если бы не тетка. Старуха, с жестокосердием пожилой вдовы, сказала однажды Оленьке, что Анатолий гордец, что он хочет отлынить, что он просто стыдится жениться на ней.

Удар тетки ловко пришелся. Оленька радовалась по-детски и не скрываясь, что она будет богата, но об разнице общественного положения своего с Анатолием никогда и не думала. Униженная, глубоко оскорбленная в первый раз отроду Оленька в тот же вечер написала Анатолию письмо. Она благородно, откровенно отказывалась от его руки, говорила, чтоб он об ней не думал и просила, чтоб вспоминал ее, говорила, что она

счастлива будет былым, и молилась о нем... Словом, писала со всею риторикой юности, которая нам кажется натянутою и кудреватую, а в молодых летах так свято добросовестна.

Оленька, отдав письмо тетке, заперлась в своей комнатке. Горько ей было. Она бросилась одетая на постель, ее утешала одна мысль, что она не переживет этой ночи. Она была так уверена в смерти, что с вечера выпустила в окно своего щегленка и взяла в постель все вещицы, подаренные ей Анатодем, и его силуэт, чтоб с ним умереть.

В слезах и лихорадочном состоянии заснула Оленька и когда раскрыла глаза, опухшие и воспаленные, она увидела Анатоля на коленях у кровати. Он смотрел на нее с прежней любовью, так нежно, с такою добротой, что она забыла о близкой смерти, о своем горе и, невольно улыбаясь, протянула Анатолю свою руку, разведенную горчишником.



ГИБЕЛЬ СЛУГИ ГЕРЦЕНА — МАТВЕЯ САВЕЛЬЕВИЧА

Иллюстрация А. Шенка из французского издания «Былого и дум», 1860 г.

Анатолий был в отчаянии от письма Оленьки, он ужаснулся своего поведения. «Как, — думал он, — когда я был несчастен, гоним, я не находил другой отрады, как это любящее дитя, я не жалел ее груди, когда сбрасывал половину своих несчастий; я не находил тогда, что она недостаточно развита, а теперь хочу любить по экзамену, выдумываю нелепые требования...»

Через две недели они были женаты.

Через два года они были несчастны.

Людские отношения, основанные на чем-нибудь, вне вольного сочувствия, не прочны, они должны оставаться поверхностными. Легко любить ни за что, и очень трудно любить за что-нибудь. Близость лиц — психологический факт; быть близким из благодарности, из сострадания, из-за того, что этот человек мне отец, а тот — брат, без личной симпатии — нелепость.

Брак ненадолго скрыл от Анатоля то, что он знал прежде. Совсем напротив, Анатолий стал свободнее; то, что требовал долг, было совершено, и он еще яснее увидел, нежели прежде, что он быстро расходится с Оленькой. Упрекая себя в невозможных желаниях, он усиливался ее больше любить и этим губил остальное нежное чувство к ней, хранившееся в его сердце.

Он был так добр, так внимателен к Оленьке, предупреждал охотно ее желания, был ласков, даже весел, но чего-то недоставало во всем этом; минутами он был так черно грустен, иногда, не думая, случалось высказывать слова унылые, свидетельствующие о борьбе, об усталости, о неудачной жизни, так что Оленька слушала с ужасом, и сердце ее начинало замирать. Ей казалось, что если б он был не так внимателен, если б он перечил иногда ей, да зато был бы... ну, был бы не так, — всё бы стало лучше.

Вместо того, чтобы рвануться вперед, расширить мысль и сердце, стараться догнать Анатоля, понять его грусть, Оленька сосредоточивалась на трепетном страхе, на воспоминании бывшего счастья, на плаче о жизни, о своей судьбе.

В свою очередь Анатолий видел, что при всех своих усилиях он не может сделать счастливой свою жену, и уж это мучило его просто, как угрызение совести. Он ухаживал за ней, он утешал ее, но выбивался из сил, тем более, что ее печальное настроение приняло хронический характер; что он ни говорил и как они ни соглашались, но на другой день повторяла она всё прежнее.

Всё можно было спасти, и жизнь их могла еще принять здоровое пл*, стоило им выйти из своего лиризма на белый свет. Любовь, о которой мечтал Анатолий, любовь, которую хотела Оленька, — была невозможна для них, но они могли бы обойтись без нее. Вообще для брака не так важна любовь, как понятие о любви, которое вносят в него, а может и того важнее одинаковое понятие о любви и браке мужа и жены. Главное несчастье наших молодых супругов было в трудности выйти из той сосредоточенности на личных интересах, в которой они разъедали друг друга.

Жизнь, окружавшая их в Москве, мало вызывала их со двора. Русская жизнь, точно тихий омут, мертва, застоялась и позеленела; она лишена всяких интересов, кроме ненасытного честолюбия; им только она и может отвлечь человека от карт, от водки и от сна. Разве какое несчастье вдруг обрушится на голову русскому человеку и разбудит его. Но у Анатоля всё шло благополучно.

Года через полтора Анатолий увидел перед собой если не выход, то перемену.

Я забыл сказать, что Анатолий, после окончания своего университетского курса, был записан отцом в военную службу. Нельзя сказать, чтоб Анатолий показал когда-нибудь хоть малейшую склонность к военному званию. Но Михайло Степанович принадлежал еще к тому поколению, которое веровало, что молодой человек не может сделаться годным на что-нибудь, не пройдя через казармы или конюшню. Для того, чтоб поместить Анатоля на службу, он обратился к князю, своему двоюродному брату, с которым, как помните, он был воспитан. Князь командовал какою-то кавалерийскою дивизией, стоявшей близ Москвы, и иногда заезжал к Столыгину. Его жизнь прошла совершенно противоположно жизни его двоюродного брата. Лихой наездник смолоду, храбрый офицер, он отличился в 1812 году с своим полком, был весь обвешан крестами всех немецких государей, введенных казаками во владение, и усыпан русскими звездами; он был прострелен двумя пулями и кругом в долгах. Плохо держался князь на ногах, мало видел, не совершенно ясно слышал, но всё еще с некоторым шиком зачесывал седые волосы à la Titus**, прическался духами, красил усы, подтягивал мундир, волочился за барышнями, и бог знает для чего, кажется из приличия, держал французскую актрису на содержании.

Это лицо хотелось мне в особенности отделать. Оно принадлежит

* направление (франц.).

** на манер Тита (франц.).

к типу, который утрачивается и который должно сохранить в памяти — к типу русского генерала 1812 года.

Надобно вам сказать, что русское общество с Петра I-го раза четыре изменило нравы. Последние, без сомнения, самые худшие. Об екатерининских стариках говорили очень много, но люди александровского времени будто забыты, так и сгнули с лица земли. Оттого ли что они ближе к нам, или от чего другого, но их мало выводят на сцену, несмотря на то, что они совсем не похожи на современных актеров «Памятной книжки» и действующих лиц «Адрес-календаря».

При Екатерине сложилась в высшем петербургском обществе не аристократия, а какое-то служилое вельможничество, надменное, гордое и недавно сделанное ручным. С 1725 и до 1762 года эти люди участвовали во всех низвержениях, возведениях на престол, задушениях, отравлениях и распоряжались, как своим добром, русской короной, упавшей на финскую грязь. Они имели случай узнать, что ножки трона петербургского не так-то крепки, что не только Шлиссельбург и Петропавловская крепость, но и самая Сибирь не так-то далеки и от дворца. Крамольная горсть богатых сановников с участием гвардейских офицеров, двух-трех немецких интриганов, храня наружный вид рабского подобиострастия и преданности, сажала кого хотела на царское место, давая знать о том к сведению другим городам империи.

Так, в сущности, мало было дела народу до Петербурга, так безразлично было для его бедной спины имя палача, который держит кнут.

Ангальт-Цербстская принцесса, произведенная Орловыми в чин императрицы всероссийской, умела с лукавой хитростью женщины обстричь волосы буйным олигархам и усыпить их дикие порывы — важным почетом, милостивою улыбкой и крестьянскими душами. Из них-то и образовалось к половине ее царствования вельможничество, о котором мы говорили. В этих людях были смешаны русское патриархальное барство с версальским царедворством, западно-аристократическая неприступная «морга» * с казачьей атаманской удалью, Кауниц с Тренком Пандуром. Люди эти были спесивы по-русски и дерзки по-французски; они обходились учтиво с одними иностранцами, с русскими они были иногда ласковы, но всем до полковничьего чина говорили «ты». Тираны своих мужиков и своей дворни, они не были, однакож, так далеки от них, как их дети и внучата; они понимали крестьянские нужды и не разоряли их дотла. Их притеснение было сноснее холодного грабежа и правильной эксплуатации поколений, следовавших за ними. Ограниченные и надутые собой вельможи эти хранили какое-то чувство собственного достоинства, любили «матушку императрицу и святую Русь». Екатерина шадилась им и слушала милостиво их советы, не считая нужным исполнять их.

Тяжелый и важный век этих старых ворчунов, обсыпанных пудрою, сенаторов и кавалеров ордена св(ятого) Владимира 1-й степени, с тростью в руках и гайдуками за каретой, век этих стариков, говоривших громко, смело и несколько в нос, был разом подрезан воцарением Павла I-го.

Павел Петрович в первые двадцать четыре часа после смерти матери сделал из роскошного, пышного, сладострастного мужского серала, называвшегося Зимним дворцом, казарму, кордегардию, острог, экзерциргауз и полицейский дом. Павел был человек одичалый в Гатчине, едва сохранивший какие-то смутные рыцарские порывы от прежнего состояния; это был бенгальский тигр с сентиментальными выходками, угрюмый, курносый, безжалостный, вечно раздраженный и поэтически влюбленный в Лопухину; он, наверно, попал бы в сумасшедший дом, если б не попал прежде на трон.

* спесь (франц. «morgue»).

Перевернул он старых вельмож, привыкших при Екатерине к покою и уважению. Ему не нужны были ни государственные люди, ни сенаторы; ему нужны были штык-юнкеры и каптенармусы. Недаром учил он на своей печальной даче лет двадцать каких-то троглодитов новому артикулу и выкидыванию эспонтоном; он хотел ввести гатчинское управление в управление российской империей, царствовать по темпам. Это было не так легко, как делать в три темпа на караул и в двенадцать заряжать ружье. Трудность эту он принимал за оппозицию и свирепел более и более.

В такой простой, в такой гадкой и отвратительной форме деспотизм еще ни разу не являлся в России, как при этом прокаженном капрале. Его марсомания, которую он передал всем своим детям, доходила до смешного, до презрительного, и в то же время в ней было что-то трагическое.

Солдатизм на троне идет от прусских королей; никогда ни французские короли, ни английские, ни даже австрийские императоры не предавались с таким неистовством страсти быть вихмистрами, как русский императорский дом, начиная с Павла. Не оттого ли это происходит, что ни прусский, ни петербургский трон не имеют никакого исторического, народного значения, что, однажды сложившись, им не на чем держаться, кроме армии, что они погибли <бы> без солдат? *

Пьяное самовластие Павла не имело никаких границ, никакого смысла. Тирания Иоанна Грозного, Петра I могут оправдаться государственными целями; деспотизм Павла был бессмысленный, горячий, ненужный. Кого пытал он и ссылал с своим генерал-прокурором Оболяниновым, и за что? Никто не знает. Но вельмож он приструнил; струсили они и вспомнили теперь, что они такие же крепостные холопы, как их слуги. С ужасом смотрели они на необузданное безумие императора и втихомолку укладывались и тащились на крестьянских лошадях в тяжелых колымагах и рыдванах в Москву и в свои жалованные вотчины.

Там их и оставил Александр после кончины Павла, которого он позволил убить, только не до смерти. Он не считал нужным вызывать из их деревень маститых государственных людей; благо они засели, обленились и задремали, учреждая в своих поместьях небольшие дворики вроде екатерининских, так, как немецкие князья XVIII века устраивали свои «Дрианон» и «Ферзал» **. Александр окружил себя новым поколением.

Поколение, захваченное в гвардии павловским ураганом, пройдя через его закал, было расторопнее и живее своих предшественников. События, ожидавшие этих людей, довоспитывали их. Шуточное ли дело Аустерлиц, Эйлау, Тильзит и борьба 1812-го, 13-го и 14-го годов!

Молодые офицеры павловского времени возвращались победоносными генералами из Парижа. Опасности, война, поражение, победы, соприкосновение с армиею Наполеона и с Францией — всё это сделало из них людей с особым характером, довольно замечательным. Смелые, добродушные и очень недалекие, с религиею дисциплины и застегнутых крючков, но и с религиею *point d'honneur* *** , они владели Россией до тех пор, пока подросло николаевское поколение военных чиновников и статских солдат.

Люди эти занимали не только все военные места, но и девять десятых высших гражданских должностей, не имея ни малейшего понятия о делах, удивляясь гражданским формам, не понимая их и подписывая не читавши бумаги. Они любили солдат и били их не на живот, а на смерть, оттого что им ни разу не пришлось в голову, что можно выучить солдата, не бивши его палкой. Они тратили страшные деньги, любили поиграть и выпить

* Этого абзаца нет ни в издании 1854 г., ни в немецком издании 1887 г.

** Искаженное немецкое произношение слов «Трианон» и «Версаль».

*** чести (франц.).

и, не имея своих денег, тратили казенные, брали глупо и неосторожно взятки, но не были систематическими ворами. Полицейских должностей они терпеть не могли, доносить всякий вздор они считали ниже своего достоинства, из какого-то доброго инстинкта они часто смягчали участь подсудимых, которым, впрочем, всегда грубили и читали морали. На приступ Варшавы пошел бы каждый из них; на казнь Польши, на истязание народа, ежедневное, мелкое, инквизиторское, беспощадное, на войну с детьми и с женщинами не нашелся бы ни один.

Долею к этим людям принадлежит Паскевич... я говорю: долею, потому что он был совершенно неизвестен до турецкой кампании 1828 года. Паскевич, один из дюжинных полковников 1812 года, вызван на сцену не Александром, но Николаем. Тем не менее, Паскевич не дикий исполнитель царской воли; насколько он может, настолько он отводит бездушную, ненасытную месть Николая.

Беда Польше, если Николай переживет Паскевича и на его место назначит одного из своих петербуржцев.

Есть что-то таинственное, роковое в судьбе полнейшего представителя поколения, о котором я говорю, в судьбе графа Милорадовича. Храбрый, блестящий, лихой, пышный, беззаботный, благородный, десять раз выкупленный Александром из долгов, волокита, мот, болтун, любезнейший в мире человек, идол солдат, управлявший несколько лет Петербургом, не зная ни одного закона, граф Милорадович был убит в первый день воцарения Николая.



CHAPITRE VIII

Dernier séjour à Sokolovo. — Rupture théorique. — Position contrainte.
Il faut partir.

Depuis notre réconciliation avec Belinski, en 1840, notre petit groupe d'amis continuait à marcher en avant avec assez d'ensemble; il y avait bien quelques nuances d'opinions, quelques vues personnelles, mais tout partait au fond des mêmes principes. Aurait-il pu en être toujours ainsi? — Je ne le pense pas. Nous devons nécessairement at-

ГЕРЦЕН И ЕГО СПУТНИКИ НА ГРАНИЦЕ

Страница французского издания «Былого и дум», 1860 г.

Иллюстрация А. Шенка

Этому прозаическому человеку не нужно было таких людей, как Милорадович; они неловки, неудобны, слишком надеются на себя, они, правда, готовы лить свою кровь, сесть на поле брани, но—они иногда возражают, шумят, громко хохочут, пьют много, дурно стоят во фрунте. Николаю нужны люди, которые, входя к нему ежедневно два-три раза в продолжении двадцати лет, каждый раз бледнеют, как Бенкендорф. Ему нужны агенты, а не помощники, исполнители, а не советники. Он никогда не мог придумать, что сделать из умнейшего <из> всех русских генералов, из Ермолова,— он его оставил доживать век в Москве.

Николай — это Павел, вылеченный от безумия, но не поумневший, Павел без добрых порывов и без бешеных поступков. У отца была белая горячка самовластия, *delirium tyranorum*, у сына она перешла в хроническую *fièvre lente* *. Павел душил из всех сил и в четыре года свернул шею — не России, а себе; Николай затягивает двадцать шестой год понемногу петлю России с немецкой выдержкой и аккуратностью.

Живую связь между Павлом и Николаем составляло худое, желтое, иссохнувшее, гнусное привидение, существо с ядом и желчью в жилах, неусыпное, во всё мешающееся, вечно злое, мертвящее, — существо, заставившее русский народ проклинать Александра — лучшего из ряда царей после Петра, — существо, заклеенное стихами Пушкина «Холоп венчанного солдата». Николай его терпеть не мог, он чувствовал в нем соперника. Двух Аракчеевых было много для России.

При Николае характер генералов 1812 г. изменяется, школа Аракчеева растет, школа писарей и аудиторов, дельцов и флигельманов, школа людей бездарных, но точных, людей бездушных, но с ненасытным честолюбием, людей посредственных, но способных доносить, пытаться, засекать, людей, знающих все уловки, все законы, ворующих систематически, грабящих по правилам политической экономии. Несколько потерянных стариков являются там-сям в Государственном совете, чуждые, отсталые, они стараются догнать холодных злодеев и боятся признаться, что у них есть сердце; двум-трем удалось переродиться.

Вы уже видите теперь, какой тип я хотел представить в моем князе-кавалеристе.

Корнет Анатолий был взят князем к себе в адъютанты. Эта должность, наименее военная из всех в мирное время, оставляла Анатолию полный досуг развешать свою жизнь теми печальными отношениями к жене, о которых мы говорили.

Но вдруг, когда всего менее кто-либо в России ждал похода, восстала Польша. Князь получил приказ выступить с своей дивизией и присоединиться к армии Дибича. Всё засуетилось, князь ожил и забыл свои лета, офицеры радовались отличиям и быстрому повышению, солдаты радовались, что во время похода не будет учений и непрерывных смотров. Один Анатолий был печальнее прежнего. Товарищи смеялись над ним и говорили ему стихами партизана Давыдова:

Нет, братцы, нет! Полусолдат
Тот, у кого есть печь в лежанкой,
Жена, полдюжина ребят,
Да ши, да чарка с запеканкой...

Даже князь, очень любивший его и вообще ничего не замечавший, разглядел, наконец, что адъютант его очень невесел, и, весьма недовольный, сказал ему раз, что военная служба состоит не в том, чтоб носить мундир и аксельбанты в Москве и что надобно было прежде думать о не-

* медленную лихорадку (франц.).

выгодах военного звания, а что теперь, во-первых, нельзя идти в отставку, а во-вторых, это значило бы — навсегда покрыть позором свое имя, — и, смягчая свой тон, старик прибавил, трепля его по плечу: «*Tout cela, mon cher, c'est très bien d'aimer sa femme, mais, enfin, sacré nom de dieu! des femmes, on en trouve partout — un jeune homme — bah! — Enfin, je ne doute pas de votre courage*» *.

— Vous le verrez, mon prince **, — отвечал ему Анатолий, вспыхнув в лице, и голосом, более одушевленным, нежели дисциплина позволяет.

— A la bonne heure ***, — отвечал старик. — Ну же, любезнейший, за дело, а бабиться потом.

Анатолий принялся с отчаянным усердием за службу; в груди у него была смертельная тоска; он старался заглушить ее непрерывной деятельностью, но успевал плохо.

С детских лет Анатолий развил в себе непреодолимое отвращение ко всякому насилию. На него сильно подействовало страшное обращение с дворовыми отца и с крестьянами — моряка. С биением сердца и со слезами на глазах смотрел он на состарившихся в отчаянной безнадежности, обтерханных, едва сытых слуг, когда отец его с своей необузданной раздражительностью осыпал их бранью, а иногда и ударами трости; с глубокой горестью смотрел он на печальных мужиков, приходивших жаловаться и просить милости, когда Столыгин свирепо и грубо принимал тех, которым удавалось добраться до барских очей, и отсылал и просьбу и мужика к моряку, на которого была жалоба.

Поставленный вне общества, отрезанный от всего мира оградой столыгинского дома, Анатолий только и мог почерпнуть живые мысли из книг небольшой библиотеки, составленной еще по советам Дрейяка. По счастью нашел он Руссо и Волнея. Они воспитали еще более и уяснили ему его ненависть к притеснению. Недоставало только вести о 14-м декабря, чтоб раскрыть окончательно глаза юноше.

Анатолий был тогда студентом Московского университета. В те счастливые времена профессора не носили форменных фраков, студенты не носили мундиров, не были обязаны стричь волосы, попечителем был добрейший старик, плохо знавший грамоте, а университета не знавший вовсе, старик, писавший до конца жизни: вторник с *ф*, и *князь* вместо: князь. Профессора тогда были или дикие семинаристы, произносившие французское *l* как греческую *λ* и пившие в семь часов утра водку, или смиренные духом немцы, которые вводили униженный клиентизм и понятие о науке как о куске насущного хлеба. Никто не заботился о том, что преподавали эти немцы и не немцы; никто не учился тогда, не следил серьезно за лекциями, кроме медиков, но почти все становились людьми и выходили из университета в жизнь с горячими сердцами. Смелый Полежаев читал тогда в аудитории свои стихи, которыми бичевал царскую власть; «Думы» Рыльева, «Полярная звезда» и тетрадка пушкинских запрещенных стихов не выходили из рук. И кто же в те времена не шептал на ухо своим друзьям, сжимая крепко руку, известные стихи Пушкина из послания к Чаадаеву:

Товарищ, верь, взойдет она —
Заря пленительного счастья

.....

И на обломках самовластья

Напишут наши имена.

* «Конечно, дорогой, любить свою жену — весьма похвально, но, в конце концов, чёрт возьми, женщины ведае найдутся — молодой человек — эх! Словом, я не сомневаюсь в вашей храбрости» (франц.).

** Вы убедитесь в ней, князь (франц.).

*** В добрый час (франц.).

Террор после 14-го декабря не мог разом пришибить все эти молодые силы, все эти свежие ростки. Надобно было воспитать поколение шпионов и наушников, развратить до корня чиновничество и прочно устроить корпус жандармов, чтоб достигнуть до той степени совершенства и виртуозности, до которой дошло русское правительство теперь.

Да, износил, истер, передувил всех этих людей, хранивших веру в близкую будущность России, жернов николаевской мельницы — целую Польшу смолот, а сам всё еще мелет.

Анатоль, вышедши из университета, свято хранил «вольнолюбивые мечты» и, как все мы, по несчастю, удовлетворялся собственным одобрением за биение своего сердца при каждом злодейском поступке правительства и грустным молчанием. Мы обыкновенно, не изменяя нашим убеждениям, сводим их на христианские молитвы и упования, которые горячо и добросовестно повторяются без всякого серьезного влияния на жизнь и без того, чтоб ожидали их исполнения *.

Война с Польшей разбудила его. Нужно ли говорить, с какой стороны были все его симпатии! Но выбора не было. Как идти в отставку в военное время?! И несчастный Анатолий, увлекаемый своим злобным гением, отправился бить поляков. Долг военного не мог поколебать в нем человеческое сердце. И он с первого сражения совался в огонь, думая, что рана или смерть спасет его от участия в этой кайновской войне. Но пули обходили его с той иронией, которая составляет один из основных тонов всемирной гармонии; а храбрость его была замечена, и князь привязал ему георгиевский крест в петлицу. Товарищи завидовали. Наконец, одно событие положило предел его военной службе.

На приступе Варшавы, когда был взят первый бастион, граф Толь, страшный и кровавый вождь вроде Тилли, подъехал с князем к бастиону. Он поцеловал майора, начальствовавшего отрядом, поздравил его с чином и крестом, и потом спросил его, указывая на толпу пленных:

— Кто же у вас их беречь будет?

Майор, державший платок на ране, молчал и смотрел с испугом в глаза генерала.

— На приступе каждый человек нужен. Если все офицеры будут брать столько пленных, нам с ними некуда деваться... Понимаете?

Майор понимал, но не говорил ни слова.

Толь обернулся к Анатолию, подозвал его и сказал ему вполголоса:

— Господин адъютант, майор, кажется, ослаб от раны — скажите старшему капитану, *il faut en finir avec les prisonniers* **.

Анатоль стоял, как вкопанный, рука его приросла к шляпе.

— Что же вы? Какой вы неповоротливый! — заметил Толь и с досадой поехал шагом прочь, указывая князю трубкой какие-то осадные работы.

— Радые стараться, — отвечал старший капитан с малороссийским выговором, когда ему Анатолий пробормотал мертвым голосом приказ Толя. — А, впрочем, охотнее полез бы еще раз на бастион, нежели бить, как баранов, безоружных людей... все-таки, образ и подобие божие.

Раненый майор, стоявший всё это время в каком-то оцепенении, сказал капитану, выжимая свою кровь из платка:

— Жаль, что проклятый поляк слабо владел штыком — ну, да, ведь, не мы отвечаем.

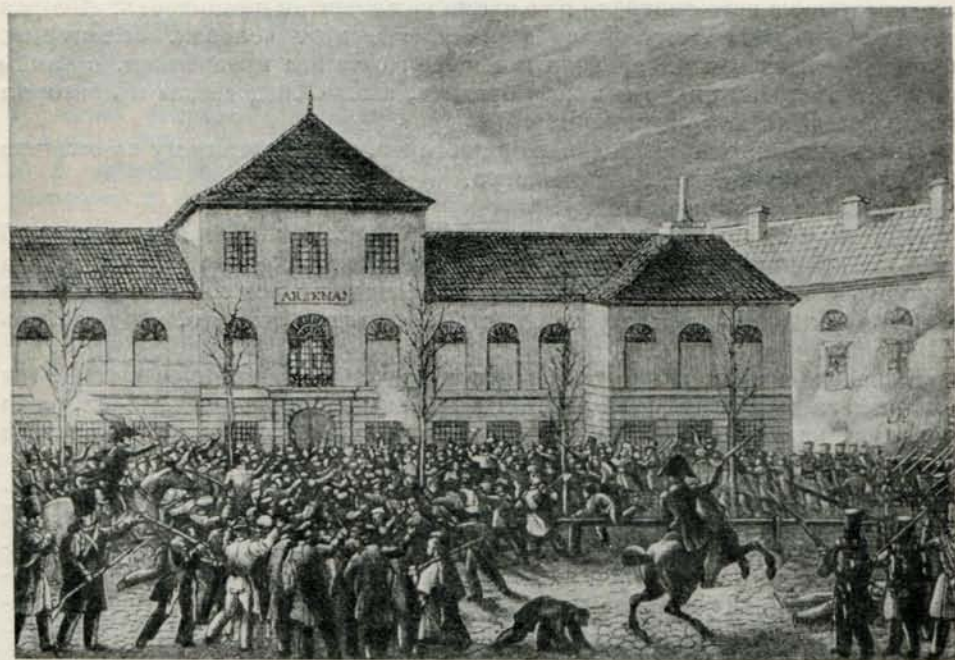
* Далее зачеркнуто: Шесть месяцев, проведенные им юнкером, прошли в военной гимнастике; мажеж, ученья физически развлекали его. Тут он попал в адъютанты, то есть ничего не делал, являлся утром на минуту к князю, два раза в неделю у него обедал и по праздникам делал с ним визиты. Притеснение отца сначала, грустное отношение к жене потом — совершенно поглощали его.

** надо покончить с пленными (франц.).



ПОЛЬСКОЕ ВОССТАНИЕ 1830 г. ШТУРМ ТЮРЬМЫ В ВАРШАВЕ

Гравюра с рисунка Дитриха
Исторический музей, Москва



ПОЛЬСКОЕ ВОССТАНИЕ 1830 г. СРАЖЕНИЕ У АРСЕНАЛА В ВАРШАВЕ

Гравюра с рисунка Дитриха
Исторический музей, Москва

— Того служба требует, — заметил, качая головой, капитан и закричал: — Хведосеев!

— Здесь, ваше высокоблагородие, — отвечал густым голосом старый унтер-офицер, с щетиною под носом.

— Выведи к стене пленных.

Анатолий повернул лошадь и хотел поскакать. Но отряд охотников шел с криком и песнями на приступ. Ему нельзя было двинуться. Гром пушек, дым, барабан и крик этих несчастных храбрецов, шедших на смерть, не зная за что, всё это казалось Анатолию каким-то окончанием мира, хаосом, разнузданным безумием. Вдруг, среди общего гама и шума, он услышал за собой резкое: «Шай — пли!», и ружейный залп грянул, почти в то же время Анатолий обернулся.

Человек двадцать пленных лежали в крови — одни мертвые, другие в судорогах. Столько же живых стояло у стены. Одни, обезумевшие от страха, кричали, хохотали судорожно и плакали; два-три человека громко читали по-латыни молитву; третьи, бледные, стиснув зубы, с гордостью смотрели на палачей. У солдат дрожали руки, они отворачивались; сам унтер-офицер Федосеев, хотя он для поддержания чести и говорил: «Эк, живучи эти поляки!» — утирал толстым рукавом шинели нос, чтоб не показывать, что утирает глаза.

— Вторая шеренга впе-ред, шай — клац! — командовал капитан. Ружья склонились и брякнули.

У Анатолия потемнело в глазах, он покачнулся и дал шпоры лошади. На дороге осколок русской бомбы раздробил ему правое плечо. Он упал замертво.

Недель через шесть Анатолий выздоравливал в лазарете от раны, но история с пленными не проходила так скоро. Она решительно расстроила его ум. Всё время своей болезни он бредил о каких-то двух голубых глазах, которые на него смотрели в то время как капитан командовал: «Вторая шеренга впе-ред!». Больной спрашивал, где этот человек, белокурый, молодой, — и за что он на него посмотрел с таким презрением, с таким укором... И потом опять начинал бредить, звал «Хведосеева» и повторял его слова: «Как поляки живучи».

Князь, жалевший очень своего адъютанта, выхлопотал ему за отличие при взятии Варшавы чин ротмистра.

Анатолий подал в отставку.

В Москву он не поехал, а остался в Варшаве дожидаться жены, чтоб ехать за границу. Он рвался теперь в чужие края, он не мог без ужаса подумать о возвращении в Москву, он ненавидел Россию. Ничто в мире не могло больше развить эту ненависть и оправдать, как то, что делалось в Варшаве.

Жена его нашла в нем совсем другого человека. Вопрос о любви и семейной гармонии не так мучительно занимал его, он возмужал, стал серьезнее, какая-то скрытая злоба пережигала его, и в душе его кипели новые страсти.

На предпоследней русской станции Столыгину пришлось ждать лошадей. Он отправился побродить по бедной, жидовской деревне, нечистой до отвратительной степени. Оборванные мальчишки облепили его, крикливо прося подаяния; слепой жид играл на гуслях; женщины с нечесаными волосами ругались около шинка. Столыгину так противна показалась эта последняя русско-жидовская картина, что он своротил в переулок и пошел за домами проселочной дорогой.

Дорога была пуста; только один человек тихо переступал с ноги на ногу. Путник этот, завернутый в изодранную шинель и с нахлобученной фуражкой на голове, сел на бревно, как человек, выбившийся из сил, и опустил голову на руки. Проходя мимо, Анатолий взглянул на него и

ужаснулся: это был облик смерти, щеки его ввалились, нос выдался, около глаз, лихорадочно блиставших, лоснился синий круг, губы были бледные, и, что всего ужаснее, видно было, что этот человек едва вышел из первой юности.

— Вы больны? — сказал ему по-польски Анатоль.

Молодой человек поднял голову и, как бы пораженный видом хищного зверя, отпрянул назад, но, тотчас же собравшись, он осмотрелся кругом и, видя, что никого нет, сжал рукою в кармане пистолет, потом, уставив пытливый взгляд на Анатоля, ответил: «Болен».

— Не могу ли я вам быть чем-нибудь полезен? — спросил Анатоль.

— Вы русский офицер? — заметил поляк, и голубые глаза его напомнили Анатолю те два страшных глаза, которые перед смертью бросили на него презрительный взгляд, полный укора.

— Я в отставке, — торопился Анатоль отвечать, покрасневши. — Это у меня старая шинель.

Поляк улыбнулся, опустил пистолет и сказал: «Вы можете меня очень обязать, давши мне рублей десять денег».

Анатоль подал ему золотой. Поляк грустно посмотрел на деньги; его худая, но красивая рука, кажется, больше привыкла бросать золото, нежели брать подавание.

— Дай бог, — сказал он, — чтоб вы никогда не испытывали той благодарности, с которою я беру ваши деньги... Сделайте одолжение, — прибавил он, — разменяйте мне золотой, мне это очень трудно сделать.

Анатоль разменял деньги и, пожав руку незнакомцу, сказал ему: «Счастливый путь».

— Да будет воля его! — пробормотал поляк.

На следующий день они встретились по ту сторону границы. При въезде в какую-то деревеньку, под водоемом, в нише стояла дурно высеченная из камня статуэтка богородицы в раззолоченной короне с Христом на руках. Перед этим изображением горячо молился человек. Столыгин узнал его и бросился к нему, как к старому другу.

Русский, проезжая границу, делается другим человеком; десять лет с костей долой, он юнеет, становится добрее, храбрее, — невозможно описать то радостное чувство, с которым мы покидаем отечество, благодаря немецким Романовым. Мы вознаграждаем себя за дрожь, осторожность и притворство целой жизни, мы делаемся болтливы и опрометчивы; нам кажется, что, оставив за собой последний зеленый мундир и последнего казака у шлагбаума, мы делаемся вольны, как птицы небесные.

Поляк только за несколько часов перешел границу. Он был сильно взволнован и одушевлен.

— Без ваших денег, — сказал он, — я или сидел бы в брест-литовском остроге, или должен бы был убить казацкого урядника; он предпочел очень умно три рубля серебром одной свинцовой пуле.

— Куда вы теперь? — спросил Анатоль.

— Буду пробираться в Берлин, там у меня много знакомых, но пока отдохну где-нибудь. Наконец, у меня нет ни сил, ни средств, я ранен в грудь и очень изнурился, скрываясь по лесам. Я пробуду где-нибудь в Познани, пока получу ответ...

— Послушайте, — перебил Анатоль, — у нас есть место, и мы едем прямо в Берлин, я буду очень рад, и вы доедете покойно.

— Что вы это? — заметил поляк, — помилуйте, да если узнают...

— Кто узнает?

— Как кто, мало у вашего царя шпионов? Когда вы возвратитесь...

— Я никогда не возвращусь, — быстро ответил Анатоль и сам удивился. Он ни разу еще не думал об этом, но, сказавши, ему казалось

так просто и ясно, что он не возвратится, что он еще раз повторил: — Никогда!

Поляк посмотрел на него с удивлением.

— Или, — прибавил Анатоль, шутя, — с вами вместе, а это, кажется, будет не так-то скоро.

— Да, — сказал поляк, грустно качая головой, — долго не увижу я леса моей Литвы...

Столыгину не было жаль ни лесов, ни полей своего звенигородского уезда; ему стало даже совестно.

— В таком случае я принимаю ваше предложение. Однако вы должны знать, кого вы так много одождаете. Мое имя — граф Ксаверий Х.

— Не в вашем ли имении стояли мы с армией до взятия Варшавы? Большое село?!

— Это наше родовое имение, им владел мой старший брат, после того, как наш отец был сослан в каторжную работу в начале царствования Николая, брат мой убит под Остроленкой, я эмигрировал. Теперь это имение ничье. Николай подарит его своим холопам, может быть своей жене, как Софьевку.

...Анатоль с каким-то благочестием слушал мартиролог графа Ксаверия. Тот, догадываясь, что происходило в душе его, прибавил:

— Польша — мученица, распинаемая за свои прежние грехи и за ваши, Авель между народами. Тяжела доля для ее детей... Отец в рудниках, сын — нищий на чужбине, и между ними — едва остывшее тело убитого русского пулей. Но, поверьте, воскресение Польши ближе, нежели кажется...

«Удивительные люди, удивительная страна, — думал Столыгин. — *Jeszcze Polska nie zginęła!*»*

В графе Ксаверии хотелось мне представить один из самых поэтических типов современной жизни, тип польского выходца.

В вашей скучной Европе тридцатых годов, педантски-мещанской в Германии и экономически-мещанской во Франции, каким-то оправданием века, холодного и вялого, укором ему и искуплением, являются поляки, эти мученики героического патриотизма. Подавленные в неравном бою, побежденные, они величаво проходили действительными победителями по Европе. Их не сломило поражение. Напротив, они еще прямее поднимали голову, еще гордее смотрели, родина их была с ними, они взяли с собою ее душу и богатые имения свои бросили царю на разграбление. Надежда их на будущее была непоколебима; фанатики-энтузиасты, они не изнемогали под бременем сомнений, они верили во второе пришествие польской свободы и скорее предавались ультрамонтизму, мессианизму, панславизму, бонапартизму, чем отчаянию.

Народы, устыженные своим рабством, с любовью и уважением смотрели на проходивших выходцев; правительства, стиснув зубы, склонялись перед ними, приказывая своим войскам расступиться и дать почетный путь этим сильным бойцам.

Где бы ни поднималось знамя независимости, в Колумбии или в Испании, в Италии или на Кавказе, непременно являлся белокурый поляк и становился в первых рядах и падал первый, завещая своим братьям и детям освобождение Польши.

Как ни преследует теперь реакция поляков, как грязная правительственная пресса ни ругается над ними, но высокопоэтический нимб, окружавший их благородный облик, не потускнеет, и ярким и светлым перейдет он в потомство на удивление векам. При слове «поляк» всякое юное сердце вздрогнет и сильнее забьется, вспоминая героический бой

* Еще Польша не погибла (польск.).

с парем этих крестоносцев свободы и патриотизма, этих бездомных скитальцев, утративших всё, кроме веры и отваги, этих воинов, для которых слово «Польша» смешивалось с словом «вольность» и всякая борьба за свободу казалась борьбою за Польшу.



БЕЛИНСКИЙ

Гравюра с портрета К. А. Горбунова, 1843 г.

«Полярная звезда» на 1856 год, книжка вторая

«Отрывок, который я посылаю вам <«Долг прежде всего»> особенно ценен для меня. Осенью 1847 читал я его в Париже нашему славному другу Белинскому. Он был очень болен... Вечером возле дивана, на котором лежал Белинский, читал я ему начало повести... Больной... одушевился, говорил с энергией, с увлечением, редко посещавшим его в последнее время...» (Из письма Герцена к Вольфзону от 13 октября 1851 г.)

Столыгин был не менее образован, нежели граф Ксаверий, он даже был многостороннее и полнее развит. Но вскоре граф приобрел большое влияние над ним: у него был определенный и испытанный характер, у Анатоля — неустоявшаяся способность. У Ксаверия во внутренней жизни всё было кончено, решено; он шел своим путем твердо, не возвращаясь беспрерывно к точке отправления, не подвергая ее беспрерывной критике и потому не сбиваясь с него.

У Анатоля были прекрасные симпатии, но не было ни направления, ни цели; его стремления больше определялись отрицательно, он лучше знал, к чему он чувствовал отвращение, нежели к чему влекло его сердце.

В образе мыслей графа была непоследовательность, перелом, но это насколько не мешало его энер<ги>ческой деятельности. Аристократ и революционер, светский человек нашего времени и настоящий породистый поляк; блестящее образование его не скрывало непокорный задор литовского магната; и неукротимая гордость праотцов пристрастно как-то совмещалась со смиренной покорностью религии, с безропотным отдаением себя воле божьей. Он был фаталист и ревностный католик. Вера его отцов, гонимая свирепыми врагами, едва смеющая вполголоса молиться о народе и робко скрывающая слезы свои о его страданиях, царяла безусловно в его сердце, придавая свою торжественную и мрачную библейскую поэзию всем мыслям и фантазиям его.

Прибавьте, что этот человек, отважный, твердый, фанатик чести, надежный заговорщик, был бесхитроsten и беззаботен, как дитя, и вы увидите, что жизнь его, при всей тягости, шла легче, стройнее, нежели жизнь Анатоля, у которого никакого внешнего несчастья не было.

Анатоль никогда не имел ни сильных верований, ни сильной связи с каким-нибудь общим делом. Религиозного воспитания в России нет, за гражданское ссылают в Сибирь; скептицизм и рабство, вот нравственные скалы, между которых мы развиваемся и бьемся. Теперь завели какое-то искусственное, притеснительное и обязательное религиозное учение. Но в те времена, когда Анатолю воспитывался в доме своего отца, старого вольтерянца, в России не было ни православных славянофилов, ни полицейского православия, ни Бурачка, ни набожного обращения униатов, ни крещения исправниками чухонцев, ни мощей Митрофана Воронежского, ни «Путешествия к Святым местам России» Муравьева, ни духовного прозрения Гоголя; Языков писал тогда еще застольные песни, а ирмосов и кондаков не только не писали, но и не читали; словом, туманное пятно подогретого православия не затемняло еще тогда последние лучи света, проникающего в полицейские щели на бедную Русь.

Анатоль с жадностью искал к чему-нибудь прислониться, спастись из хаотического брожения, в которое его увлекал скептицизм, получить определение, дело, цель.

Граф Ксаверий часто рассказывал ему об одном удивительном человеке, который в эмиграции пользовался общим уважением святого. С ним советовались, искали у него утешения. Это был старый ксендз, живший в одном бельгийском монастыре. Некогда и он играл роль в политическом мире, лил свою кровь вместе с Костюшкой, потом он обратился к иным орудиям, отдался богу, был ксендзом, монахом и занимался теперь, сверх молитвы, собиранием хроник. «Вот человек, — говорил он, — который мог бы вас призвать к новой жизни, разбудить вас к деятельности. Заезжайте к нему, когда поедете в Париж. Я ему напишу вперед». Анатолю согласился.

Он согласился не потому, чтоб он ожидал в самом деле что-нибудь необыкновенное от ксендза. Но, праздный и готовый на всё, ему любопытно было видеть, что это за человек, о котором так много говорил Ксаверий. Ему даже хотелось поспорить с фанатическим аскетом, с католиком-ученым, вероятно, не отличающимся терпимостью.

Вместо сурового монаха и гордого теолога, в трапезу, где Анатоля заставили ждать, вошел болезненный, исхудалый старичок, без волос, с нежным восковым лицом. Он скорыми шагами подошел к Анатолю, взял обе руки его, с горячностью сжал их и, несколько тронутый, сказал тихим голосом:

— Я могу повторить слова святого Симеона *nunc dimittis...* (ныне отпускаеши...) — я увидел русского эмигранта!.. Поздравляю вас в нашей гонимой семье, от души поздравляю. Вы приносите нам отрадную весть из враждебного стана, как голубица, прилетевшая с оливой к Нюю.

— Боже мой! — продолжал он, усевшись с гостем, — как истина всегда торжествует! Вы бежите от победы, как другие бегут от поражения; вы чувствуете, что она не ваша. Зато она вам и отпустится легко. Очень, очень важно, что молодые русские отпадают от царя, и оно должно так быть. В царской власти нет достаточно любви, ни теплоты, чтобы надолго удерживать народ, отторгнутый их себялюбием от единого нераздельного братства. Царь — не пастырь, отдающий себя стаду, а надменный Луцифер, ставящий себя, в противоположность богу, главою церкви. Около его эгоизма, около его порочной пустоты, к которой тяготеют души, находящиеся под его влиянием, нет ни света, ни милосердия. Это нравственная Сибирь; в ней не могут оставаться живые души, отчужденные от человечества.

Потом старик расспрашивал его о судьбе сосланных, о Варшаве после ее взятия. С грустью слушал он рассказ об ужасах и безумиях победившего самовластия, но ни одним словом не оскорбил он Анатоля. Напротив, он удивил его своей деликатностью.

Заключая разговор, ксендз прослезился и крепко обнял Анатоля.

— Я ждал вас, — сказал он, — давно носилось в моей душе упование, что я увижу начало обновления России. Внутренний голос влечет людей на единый истинный путь, раскрытый богом от начала веков и преемственно дошедший до нас. Двух путей к цели нет. Который же истинный путь? Путь ли распятия, мученичества, апостольства, Польши, или путь Кайяфы, Иуды, палачей, царя? Может ли тут быть спор?! Слава вам, если господь обратился на вас, на первых, внимание. Но вы не последний, это мне говорит сердце.

Свидание с старцем оставило что-то успокаивающее на душе Анатоля.

Как ясно и безмятежно в самой грусти своей о родине оканчивалось это существование! Анатолий вспоминал его добрую наружность, слезы, которыми он омочил его щеки, и огонь веры, струившийся из его глаз, скоро долженствующих закрыться.

Анатолий остался на несколько месяцев в Брюсселе.

Довольно часто навещал он ксендза в его монастыре. Всегда кроткий, покойный, всегда готовый на беседу, он удивлял Анатоля своими сведениями по исторической части. Часто разговоры их касались религии. Впрочем, ксендз не натягивал их. Долгая жизнь его и большая опытность оставили ему такой огромный запас фактов и заметок об людях и событиях, что недостатка в предметах разговора не было.

Возражения он слушал спокойно, внимательно, взвешивал их и старался опровергать довольно оригинально.

Когда Анатолий говорил ему о своем скептицизме, о невозможности верования, старик не убеждал его, а говорил, что невозможность верования — великое несчастье, что вера есть высокий дар, что дать веру нельзя так, как нельзя дать поэзию, талант, но что душа человека достигает до нее смирением и опытом, убеждающим в суетности всего остального.

«Наука вам точно так же, — говорил он, — не может доказать своего начала. Откуда бы вы ни пошли, она возводит вас к факту неподсудному вам, который она втесняет, который вы должны принять; перед логикой и разумением есть материальный мир и мир духовный; перед обоими человек должен смириться, но один подавляет, а другой освобождает; в одном человек терзается, в другом находит себя».

Для Анатоля эта метода была нова. Он ясно видел, что науку отвергать есть столько же справедливости, как отвергать религию, и что собственно борьба идет не между знанием и откровением, а между сомнением и при-

нятием на веру. По всему характеру своему и по развитию он склонялся гораздо более к скептицизму. Но с пустотою, которая делалась ему всё тягостнее и тягостнее в жизни, он сладить не мог. Скептицизм в науке странным образом наводил его на мистицизм, он углубился в схоластиков; Ксендз сам выбирал ему книги.

Среди этих занятий одно событие неожиданно потрясло его жизнь.

Столыгин ожидал в первый раз сделаться отцом. Жена его, очень расстроившая свое здоровье непрерывной грустью, а потом беспокойством во время войны, была слаба, но очень поправилась в несколько месяцев путешествия. Всё шло хорошо, и у них родилась дочь. Анатолий был чрезвычайно рад новорожденной; жизнь его расширялась, делалась необходима и начинала получать цель. Но радость эта скоро померкла; через неделю родильница вдруг захворала, потом больше и больше разнемоглась, воспаление сожгло ее в три дня. Она умерла в страшных мучениях на руках Анатолия.

Смерть этой женщины, которая не могла сделать Анатолия совершенно счастливым, но с которой он так сжился, с которой было связано все былое его, поразила его. Она слишком тесно была вплетена во всю ткань его жизни. Когда Анатолий, удрученный горем, без слез, без ясного понимания, механически, сам не зная для чего, отошел от покойницы и отворил дверь спальни, он встретил в ближней комнате старого Ксендза, который читал молитвенник. Увидя Анатолия, он встал, горячо прижал его к груди и сказал ему: «Сын мой, я пришел вместе плакать, вместе молиться». Анатолий, рыдая, спрятал голову свою на груди старика.

Это было на рассвете. Старик всю ночь молился. Извещенный об опасности жены Анатолия, он оставил свой монастырь, чтоб утешить молодого друга своего.

Жизнь Анатолия приняла более мрачный, серьезный и странный вид. Он и новорожденная в колыбели, он и старик, близкий к гробу, вот и всё, — четвертого не было; Ксаверий давно уехал в Париж.

Старик хотел сам окрестить дочь Анатолия и окрестил ее по западному ритуалу. Ее называли Вероникой.

Месяца через три и Анатолий перешел в католическую веру. Ксендз был на вершине счастья. Но для Анатолия и это казалось теперь недостаточным; он просил, чтоб его приняли в братство Иисуса. Ксендз поздравлял его с этим желанием, но советовал не торопиться, подождать, изведать свои силы. Он познакомил его с настоятелем иезуитского монастыря, молодым монахом, холодным фанатиком, вроде Сен-Жюста, который был того же мнения.

Настоятель сказал Анатолию, что он берет его обет условно, что этот обет нисколько не должен связывать, что ближе полугода он не примет его окончательно. «Возвратитесь в мир, — говорил он, — посмотрите снова на кипящую жизнь, на большие города, на светские интересы; и если они влекут вас, если вам жаль будет их оставить, не вступайте лучше в эту передовую фалангу церкви, трудно в ней, много преданности требует наша служба; кто идет с нами, тот отказывается от всего, даже от воли». Анатолий возражал. Настоятель был непреклонен.

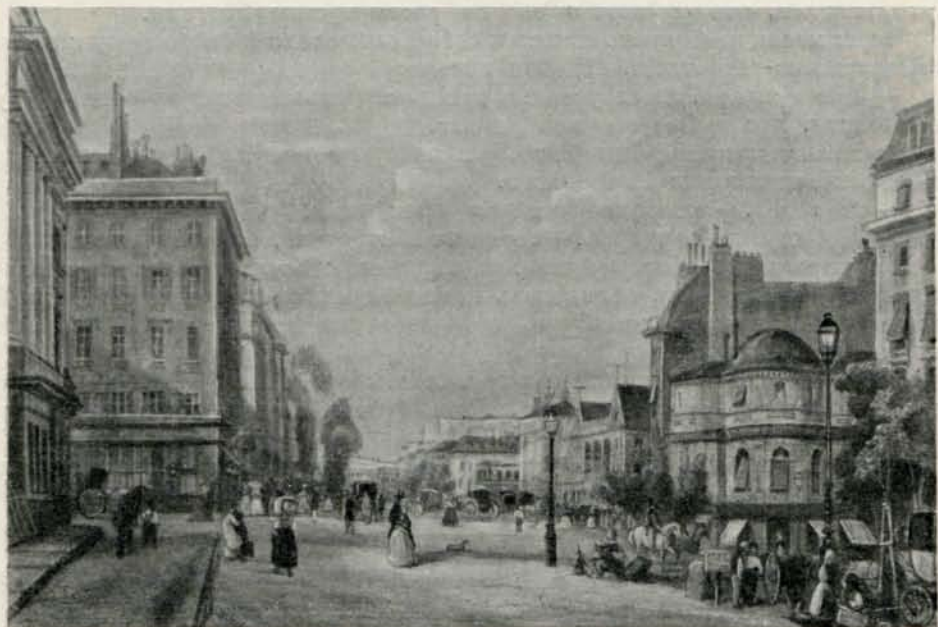
Побродил Анатолий шесть месяцев по свету, побывал в Париже, и свет ему опротивел еще больше. Это было в самое то время, когда Людвиг-Филипп и его мещане окончательно восторжествовали над *вредными страстями*, когда кровь лилась реками в Лионе, в Клуатре, Сен-Мерие, и Бюжо, приготавлиаясь к Транснонинской улице, свидетельствовал беременность герцогини беррийской.

Анатолий еще более готовым явился к настоятелю. Его приняли.

Новые братья нашли тотчас банкира, который взялся продать его име-

ние в России и вперед принял вексель Столыгина. Большую часть достояния он отдал братству, остальное положил на имя дочери.

С ревностью вновь убежденного, с покорной твердостью человека, давно искавшего определенное дело и внешний толчок, вынес он томительные месяцы искуса. Они ему даже показались легки. Внешний труд, труд обязательный, периодический, почти столько же развлекает и врачует больную душу, как болезнь тела. Все католические журналы Бельгии и Франции гремели наперерыв о славном обращении d'un boyard russe *, о его блестящем искусе и полном принятии в орден под именем брата



ИТАЛЬЯНСКИЙ БУЛЬВАР В ПАРИЖЕ

Раскрашенная литография, 1840-е гг.

Музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, Москва

Венцеслава. Св<ятой> отец прислал ему благословение, Ротган написал письмо.

Когда Анатолий успокоился и перестал дивиться новой жизни своей, когда и ему перестала дивиться братия, а стала с ним обращаться как со своим, он с ужасом стал ощущать еще томительнейшую пустоту, нежели прежде.

Настоящая вера его отлетела; прежний, родной, знакомый скептицизм возвращался. Напрасно прибегал он к молитве и к исполнению обрядов; молитва стыла на устах его, обряды казались бессмысленным, автоматическим повторением, уму и сердцу становилось от них теснее.

Новый мир, строгий, стройный в своем единстве и иерархии, успокаивающий, обнадеживающий, который так мощно влек к себе Анатолия, стал ему казаться совсем иным с тех пор как он стоял по другую сторону декораций. Он нашел в нем прежний мир с теми же страстями, но иначе выраженными, менее откровенными и прикрывающимися видом величавым и строгим.

Он погибал, но через его рот не перешло ни одно слово. Он ненавидел

* русского боярина (франц.).

себя за эту шаткость и хотел разом сломить волю и разум; он лучше готов был всё на свете перенести, нежели изменить обету, добровольно данному им вчера. Он молчал, он становился мрачнее, худел, дичал, но строго исполнял все обязанности своего звания.

Инквизиторский глаз настоятеля разглядел через некоторое время подозрительное погружение в самого себя и сосредоточенную душу Венцеслава. Он понял его внутреннюю борьбу и окружил его лазутчиками. Но поведение, слова, вид Венцеслава были безукоризненны, покорность беспредельна. И, при всем этом, от него веяло чем-то опасным для верующих душ, чем-то наводящим страх. Дело показалось настоятелю до того важным, что он поверг его на рассмотрение Ротгана.

Через месяц настоятель позвал к себе Венцеслава и сказал ему с видом торжественно-радостным, подавая письмо:

— Ваша жизнь, ваше усердие нашли признание нашего отца—я душевно рад, что выбор его пал на вас.

Венцеслав развернул письмо, в котором генерал ордена назначал его проповедником в Монтевидео.

— Я готов,— смиренно отвечал Венцеслав.

— Я был в этом уверен,— заметил настоятель, опуская глаза.

На первом корабле отправился наследник Степан Степановичей и Михаил Степановичей, обладатель поместий в звенигородском и можайском уездах и дома на Яузе, в Монтевидео проповедовать религию, в которую не верил.

Как особенную беспримерную милость орден позволил ему взять с собою малютку, ограничившись только третью из оставленного в пользу ее достояния.

С тех пор не было больше слухов о Столыгине. В монастыре говорили, что он свято исполнял свой долг.

Вот всё, любезный Вольфзон, что я помню из плана повести, которая меня занимала около двух лет.

Может быть, когда-нибудь, при совершенно иных обстоятельствах, я попытаюсь отделать, если не всё, то некоторые части ее. Только не теперь.

Отрывок, который я посылаю вам, особенно ценен для меня.

Осенью 1847 читал я его в Париже нашему славному другу Белинскому. Он был очень болен; чахотка, разъедавшая его грудь, уже отметила на лице его близкую смерть. Это было перед его и моим отъездом; он отправлялся в Петербург, я в Рим. Вечером возле дивана, на котором лежал Белинский, читал я ему началс повести. С другой стороны стола, на больших креслах, сидел высокий молодой мужчина, сгорбленный, с лицом печальным, выражавшим необыкновенную силу мышления и отвагу; он делал сигаретки и смеялся,—то был Бакунин. Больной наш тоже одушевился, говорил с энергией, с увлечением, редко посещавшим его в последнее время.

Из нас трех в живых остался один я.

Прощайте; жму вашу руку.

Александр Герцен

Ницца. 13 октября 1851 *

* Подпись «Александр Герцен» и дата «Ницца. 13 октября 1851» — сделаны рукой Герцена.